

Люди среди деревьев

Автор:

Ханья Янагихара

Люди среди деревьев

Ханья Янагихара

«Люди среди деревьев» – первая книга Ханьи Янагихары. И хотя мировую славу ей принес второй роман, «Маленькая жизнь», дебют получил восторженные отзывы в авторитетных изданиях, отметивших появление сильнейшего оригинального голоса в американской прозе.

В 1950 году молодой доктор Нортон Перина отправляется в составе научной экспедиции на затерянный микронезийский остров, где встречает племя людей, владеющих тайной не то уникального долголетия, не то вовсе вечной жизни. Результаты его исследований обещают фундаментальную революцию в медицине и новые сказочные горизонты для человечества. Однако претворение сказки в быль по традициям цивилизованного общества – процесс болезненный и страшный, подчас стирающий границы между подвигом и преступлением.

Ханья Янагихара

Люди среди деревьев

© 2013 by Hanya Yanagihara

© В. Сонькин, перевод на русский язык, послесловие, 2018

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Издательство CORPUS ®

Выдающийся роман. Захватывает целиком и не отпускает.

The Wall Street Journal

Изумительно цельная этнографическая фантазия, изумительно отвратный рассказчик. Этот дебютный роман прекрасен в каждом своем аспекте – и эстетически, и этически, и сюжетно.

Publishers Weekly

Глубокая и волнующая история приключений. Отличный повод для серьезной дискуссии о науке, нравственности и царящем ныне культе молодости.

Chicago Tribune

Такая немыслимая изобретательность, такой почти демонстративный отказ от спасения и утешения. Что же до литературного мастерства Янагихары, им можно только восхищаться.

The New York Times Book Review

Завораживает и выворачивает душу наизнанку.

Vogue

Ничуть не похожий на сенсационную «Маленькую жизнь», но столь же уникальный, неожиданный и пронзительный, дебютный роман Ханьи Янагихары поразил читателей и критиков. В 1950 году доктор Нортон Перина отправляется на далекий микронезийский остров, где живут люди, якобы владеющие секретом вечной жизни. Выяснить природу этого феномена ученому удастся, однако его великое открытие внезапно оборачивается целой серией катастроф – экологических, социальных и персональных.

ПРОСПЕРО

Черт, по рожденью черт. Его природы

Не воспитать. Уж сколько я трудов

Благих потратил, – все пропало даром.

С годами телом он все безобразней,

Умом растленной. Буду мучить так,

Что взвоют.

«Буря», акт IV, сцена 1

Перевод Михаила Кузмина

Моему отцу

Vom Vater... Lust zu fabulieren

19 марта 1995 г.

Известному ученому предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах

Ассошиэйтед Пресс

Бетесда, штат Мэриленд. Вчера по обвинению в сексуальных домогательствах был арестован Абрахам Нортон Перина, известный иммунолог и почетный директор Центра иммунологии и вирусологии Национальных институтов здравоохранения в г. Бетесда, штат Мэриленд.

Д-ру Перине 71 год. Ему предъявлены три обвинения в изнасиловании, три обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего лица, два обвинения в посягательстве сексуального характера и два обвинения в поставлении в опасность несовершеннолетнего. Обвинения были выдвинуты одним из приемных сыновей д-ра Перины.

«Это ложные обвинения, – заявил вчера адвокат Перины, Дуглас Хиндли. – Д-р Перина – видный и уважаемый член научного сообщества; он стремится к тому, чтобы разрешить эту ситуацию как можно скорее и вернуться к своей работе и семье».

В 1974 году д-р Перина получил Нобелевскую премию по медицине за обнаружение синдрома Селены, который замедляет старение. Состояние, при котором тело больного сохраняется в относительно молодом возрасте на фоне старческого угасания рассудка, было обнаружено у народа опа'иву'экэ на Иву'иву, одном из трех островов микронезийского государства У'иву. Причиной возникновения синдрома оказалось потребление мяса редкой черепахи, в честь которой д-р Перина назвал племя. Было обнаружено, что ткани черепахи инактивируют теломеразу, естественный фермент, укорачивающий теломеры и благодаря этому ограничивающий количество циклов деления каждой клетки. Люди, подверженные синдрому Селены, который назван в честь бессмертной и вечно юной богини Луны в древнегреческой мифологии, как выяснилось, могут жить с этим синдромом несколько столетий. Перина, впервые побывавший на У'иву в 1950 году молодым врачом в составе экспедиции под руководством известного антрополога Пола Таллента, провел на островах много лет, занимаясь полевыми исследованиями. Своих 43 детей он усыновил там же; многие из них были сиротами или детьми обедневших членов племени

опа'иву'экэ. Некоторые из детей находятся на попечении Перины по сей день.

«Нортон – образцовый отец и выдающийся мыслитель, – заявил д-р Рональд Кубодера, исследователь, давно работающий в лаборатории Перины и один из ближайших друзей ученого. – Я нисколько не сомневаюсь, что эти нелепые обвинения будут сняты».

3 декабря 1997 г.

Известный ученый, лауреат нобелевской премии, приговорен к тюремному заключению

Рейтерс

Бетесда, штат Мэриленд. Доктор Абрахам Нортон Перина был приговорен сегодня к двухгодичному тюремному заключению в исправительной колонии Фредерик.

Д-р Перина получил Нобелевскую премию в 1974 году, доказав, что потребление мяса ныне вымершей черепахи, обитавшей в микронезийском государстве У'иву, инактивирует теломеразу, которая ограничивает количество циклов деления каждой клетки. Это состояние, известное как синдром Селены, как было установлено, может передаваться целому ряду млекопитающих, включая людей.

Перина был одним из немногих представителей западного мира, получивших полный и беспрепятственный доступ к самому далекому и таинственному из островов; в 1968 году он усыновил первого ребенка из числа 43 уроженцев этой страны. Все они воспитывались в его доме в Бетесде. Два года назад Перине были предъявлены обвинения в изнасиловании и преступной небрежности в отношении ребенка; эти обвинения были выдвинуты одним из его приемных детей.

«Это огромная трагедия, – считает д-р Луис Алтшур, директор Национальных институтов здравоохранения, где много лет работал д-р Перина. – Нортон – выдающийся мыслитель, большой талант, и я, разумеется, рассчитываю, что ему

будет предоставлена терапия и помощь, в которой он нуждается».

Получить комментарии от Перины и его адвоката не удалось.

Предисловие

Я Рональд Кубодера, но полное имя вы встретите только в научных журналах. Для всех остальных я Рон. Да, я тот самый доктор Рональд Кубодера, про которого вам, без сомнения, рассказывала пресса. Нет, не все эти истории правдивы – так вообще редко бывает, разумеется.

Но в моем случае самые главные из них истинны, и я ими горжусь. Горжусь, в частности, тем, что так или иначе связан с Нортоном (обратите внимание: всего полтора года не было никакой нужды специально упоминать об этом), которого я знал с 1970 года, когда начал работать в его лаборатории в Бетесде, штат Мэриленд, – в лаборатории, входившей в Национальные институты здравоохранения. Нортон тогда еще не получил Нобелевскую премию, но его труды уже перевернули медицинское сообщество, навсегда изменив взгляды ученых на вирусологию и иммунологию, как и, надо сказать, на медицинскую антропологию. Я горжусь еще и тем, что, завязав профессиональные отношения, мы вступили в не менее тесные отношения дружеские; общение с Нортоном вообще оказалось самым значительным в моей жизни. Больше всего, впрочем, я горжусь тем, что после событий последних двух лет я по-прежнему его друг, а он по-прежнему мой.

Разумеется, у меня нет возможности разговаривать и общаться с Нортоном так часто, как мне – или ему, без сомнения, – хотелось бы. Находиться в отдалении от него странно и одиноко. Вообще, до моего переезда сюда[1 - В Пало-Альто, штат Калифорния, где я работаю по стипендии имени Джона М. Торренса в отделении иммунологии Медицинской школы Стэнфордского университета.] почти полтора года назад – это произошло через месяц после того, как Нортону огласили приговор, – в повседневной жизни мы вряд ли провели врозь больше двух дней. И то я, возможно, преувеличиваю. (Разумеется, я не учитываю особые обстоятельства, например, отпуск с моей тогдашней женой или поездки, которые мы совершали отдельно друг от друга на разные похороны, свадьбы и так далее. Но даже в этих случаях я старался связываться с ним ежедневно, по

телефону или телефаксу.) Суть в том, что разговоры с Нортонем, работа с Нортонем, жизнь с Нортонем просто была частью моей повседневности, примерно в том смысле, как многие люди ежедневно смотрят телевизор или читают газету: это один из незапоминающихся, но важных ритуалов, поддерживающих уверенность, что жизнь идет своим чередом. Но когда такой ритм внезапно ломается, это не просто настораживает – это выбивает из колеи. Именно так я ощущал то, что происходило на протяжении последних полутора лет. По утрам я просыпаюсь и занимаюсь обычными повседневными делами, но по вечерам никак не могу лечь, брожу по своей квартире, гляжу в темноту ночи, думаю, что я мог забыть. Я ставлю галочку напротив бесчисленных мелочей, которыми бездумно занимаюсь в течение каждого дня – писем, которые я прочитал, на которые ответил, сроков, которые не нарушил, дверей, которые запер, – пока наконец с тяжелым сердцем не забираюсь в кровать. Только на последнем подступе ко сну я вспоминаю, что сам образ моей жизни стал иным, и тогда меня ненадолго охватывает печаль. Я не удивлюсь, если вы решите, что к этому времени мне следовало бы принять изменение жизненных обстоятельств Нортоня и, как следствие, своих тоже, но что-то во мне сопротивляется: в конце концов, он был частью моей повседневной жизни на протяжении почти трех десятилетий.

Но если моя жизнь пустынна, жизнь Нортоня гораздо пустыннее. Представляя себе, где он сейчас, я не испытываю ничего, кроме гнева: Нортон человек уже немолодой, нездоровый, и тюремное заключение не кажется мне уместным или разумным наказанием.

Я знаю, что я в меньшинстве. Я потерял счет случаям, когда я пытался объяснить, что такое Нортон – какой он человеческий, какой умный, какой неординарный, – друзьям, коллегам и репортерам (а также судьям, присяжным и адвокатам). За эти последние полтора года я неоднократно сталкивался с предательством его бывших друзей, видел, как быстро они могут забыть и забросить человека, которого якобы любили и уважали. Некоторые друзья – люди, которых Нортон знал, с которыми работал на протяжении долгих лет, – практически исчезли, как только против него были выдвинуты обвинения. Но те, кто оставил его после обвинительного приговора, оказались еще хуже. В этот момент я осознал всю глубину людского вероломства и лицемерия.

Но я отвлекся. Одной из главных сложностей тюремного заключения для Нортоня стала борьба с отчаянным однообразием, от которого в его положении никуда не денешься. Честно говоря, я немного удивился, когда меньше чем

через месяц после приговора он стал жаловаться на чудовищную скуку. Нортон всегда мечтал – я думаю, об этом мечтают многие выдающиеся, очень занятые люди – провести месяц или год в уютной тишине без каких бы то ни было обязательств. Не выступать с речами, не писать и не редактировать статьи, не обучать студентов, не заботиться о детях, не проводить исследований – одно лишь пустое и плоское пространство свободного времени, которое можно будет заполнить чем угодно. Нортон всегда описывал время как море, как зеркальное, бесконечное пространство пустоты, и эта его мечта – «морское время», как он выражался, – стала своеобразной шуткой, кодовым обозначением тех вещей, которыми он хотел бы когда-нибудь заняться, но пока что не мог найти на это времени. Он посвятил бы морское время чтению биографий. Он писал бы в морское время мемуары. Никто – это в первую очередь касалось самого Нортон – не считал, что морское время у него когда-нибудь появится, но теперь оно, конечно, есть – без теплого климата и приятного ленивого отупения, которое связывают с заслуженной тяжелым трудом праздностью. К сожалению, Нортон, судя по всему, просто не приспособлен к досугу; более того, он испытывает от него мучения (хотя, конечно, я осознаю, что это может быть в значительной степени вызвано теми неблагоприятными обстоятельствами, при которых такой досуг ему достался). В недавнем письме он говорит:

Здесь мало что удастся делать, а в какой-то момент оказывается, что думать удастся еще меньше. Мне никогда не приходило в голову, что я могу очутиться в таком положении – что буду вымотан до полной обескровленности, разве что дело не в крови, а в мыслях. Вот она, скука, – а я-то всегда считал, что буду бесконечно дорожить длительной пустотой, что с легкостью ее заполню. Но я пришел к выводу, что мы не в состоянии заполнять такие огромные и пустые временные блоки, мы говорим, что управляем временем, но на самом деле все наоборот: наши дни заняты, потому что крошечные промежутки времени – это все, с чем мы способны справиться[2 - А. Нортон Перина д-ру Рональду Кубодере, 24 апреля 1998 г.].

Это мудрое замечание.

Несмотря на очевидную суровость обстоятельств, в каких сейчас пребывает Нортон, некоторым хватает наглости утверждать, будто ему следует с благодарностью принимать так называемое снисхождение, которым якобы отмечено его наказание. Такая точка зрения представляется не только

идиотской, но и жестокой. Среди этих людей – некто по имени Герберт Уэст (имя я нехотя изменил), один из научных сотрудников, работавших с Нортон в восьмидесятых годах. Он заехал в гости к Нортону в Бетесду по пути на конференцию в Лондон. Это случилось до процесса, но после привлечения к суду, в момент, когда Нортон оказался, по сути дела, под домашним арестом и всех детей у него отобрали. Я всегда считал, что Уэст поприличнее многих бывших сотрудников Нортон; он провел в гостях около часа, после чего предложил мне поужинать с ним в ресторане. Я не то чтобы к этому стремился (к тому же было крайне бестактно приглашать меня при Нортоне, которому никуда не разрешалось выходить), но Нортон сказал, чтобы я шел, что ему нужно закончить какую-то работу и он вполне готов остаться один.

В результате я отправился ужинать с Уэстом, и хотя мне было трудно не думать о Нортоне, который сидит в одиночестве в пустом доме, мы на удивление толково поговорили про работу Уэста, про доклад, который он собирался делать на конференции, и про статью, которую мы с Нортон опубликовали в «Медицинском журнале Новой Англии» накануне ареста, и про разных общих знакомых, а потом, когда нам принесли десерты, Уэст сказал:

– Нортон очень постарел.

Я ответил:

– Он оказался в чудовищной ситуации.

– В чудовищной, правда, – пробормотал Уэст.

– И невероятно несправедливой, – сказал я.

Уэст не сказал ничего.

– Невероятно несправедливой, – повторил я, предоставляя ему еще один шанс.

Уэст вздохнул и промокнул уголки рта краем салфетки – это был жест одновременно фальшивый и манерный, и к тому же вызывающе и омерзительно англофильский. (Несколько десятилетий назад Уэст учился – всего два года – по стипендии Маршалла в Оксфордском университете, о чем ему с удивительной

искусностью удавалось сообщить в любом научном или деловом разговоре.) Черничный пирог, который он ел, окрасил его зубы в лиловый цвет синяков.

– Рон... – начал он.

– Что? – сказал я.

– Как ты думаешь, он действительно виновен?

К тому моменту я уже научился ожидать этого вопроса и знал, как на него реагировать.

– А ты?

Уэст посмотрел на меня с улыбкой, потом уставился в потолок, потом снова перевел взгляд на меня.

– Да, – сказал он.

Я ничего не ответил.

– А ты нет, – сказал Уэст с некоторым удивлением.

Что на это отвечать, я тоже уже выучил.

– Не важно, виновен он или нет, – сказал я. – Нортон – великий мыслитель, и все остальное мне безразлично; да и истории тоже.

Повисла пауза.

Наконец Уэст застенчиво пробормотал:

– Пора закругляться. Мне до рейса еще нужно кое-что почитать.

– Хорошо, – ответил я, и мы доели десерт молча.

Мы приехали в ресторан на моей машине, и когда мы расплатились (Уэст пытался меня угостить, но я воспротивился), я отвез Уэста в его гостиницу. В машине он пытался как-то возобновить разговор, что меня еще сильнее разозлило.

На гостиничной парковке после нескольких минут напряженного молчания – выжидательного со стороны Уэста, злобного с моей – он наконец протянул мне руку, и я ее пожал.

– Ну вот, – сказал Уэст.

– Спасибо, что зашел, – сухо сказал я. – Не сомневаюсь, что Нортон это оценил.

– Ну вот, – снова сказал Уэст. Я не мог с уверенностью сказать, сумел он считать мой сарказм или нет; мне казалось, что нет. – Буду думать о нем.

Снова повисла тишина.

– Если его признают виновным... – начал Уэст.

– Не признают, – сказал я.

– Но если признают, – сказал Уэст, – он попадет в тюрьму?

– Не могу себе представить, – ответил я.

– Ну, если попадет, – не успокаивался Уэст, и я вспомнил, каким непристойно амбициозным карьеристом он был, как ему не терпелось сбежать из лаборатории Нортон и возглавить собственную, – у него, по крайней мере, будет куча морского времени, правда, Рон?

Эта наглость так меня возмутила, что я не смог ничего ответить. Пока я задыхался от негодования, Уэст мне улыбнулся, еще раз попрощался и вышел из машины. Я проследил, как он прошел через раздвижные двери гостиницы, зашел в ярко освещенный вестибюль, и тогда я снова завел двигатель и вернулся к Нортону, у которого обычно ночевал. В следующие месяцы процесс начался и закончился, потом началось и закончилось вынесение приговора, но Уэст,

разумеется, Нортон больше не навещал.

Я уже отмечал, что к нынешнему положению Нортон публика относится без сочувствия. Его осудили и списали со счетов еще до того, как он был официально осужден и списан по закону коллегией якобы равных ему присяжных – каково это, обладая интеллектом Нортон, знать, что твою судьбу решают двенадцать остолопов (один присяжный, насколько я помню, работал кассиром на платной автодороге, другой мыл собак), чей вердикт делает буквально все твои предыдущие достижения несущественными, а то и бессмысленными? Если взглянуть с этой точки зрения, стоит ли удивляться, что Нортон сейчас в депрессии, что он скучает и не может вести интеллектуальную жизнь?

Я бы хотел еще сказать несколько слов о том, как освещали процесс средства массовой информации, потому что было бы глупо пренебрегать их тенденциозностью и охватом. Во-первых, с учетом природы тех преступлений, в которых обвинили Нортон, я несколько не удивился, что газеты посвятили бесчисленные страницы обсасыванию – в деталях и с невероятным равнодушием к истине – немногочисленных фактов из личной жизни Нортон, известных широкой общественности. (Следует признать, что в этих материалах сквозь зубы сообщалось о его значительных достижениях, но только для того, чтобы еще эффектнее оттенить предполагаемые пороки.)

Я вспоминаю, как в те дни, пока Нортон ожидал суда, я вместе с ним нес вахту в его доме (а снаружи группа телерепортеров убивала время на краю лужайки перед домом, они что-то ели и болтали в гудящем, переполненном насекомыми летнем воздухе, как будто приехали на пикник), и из всех многочисленных (разумеется, проигнорированных) запросов на интервью, только одно издание – к сожалению, «Плейбой» – предложило Нортону написать материал в свою защиту самостоятельно, а не послало какого-нибудь слюнтявого молодого щелкопера разбирать его жизнь и предполагаемые злодеяния на потеху читателям. (Мне поначалу казалось, что это интересное предложение, несмотря на площадку, но Нортон опасался, что любые написанные им слова будут извращены и использованы в качестве признания. Разумеется, он был прав, и идея была отвергнута.) Но при этом я понимал, как бесит и печалит его тот факт, что он лишен возможности выступить в собственную защиту.

Ирония заключалась в том, что незадолго до ареста Нортон как раз планировал засесть за мемуары. К этому времени – к 1995 году – он отчасти вышел в отставку и больше не был обременен разными административными обязанностями и лабораторной суматохой. Я не хочу сказать, что он перестал быть самым гибким и незаменимым умом на своем рабочем месте, – он просто начал думать над тем, как по-другому упорядочить предоставленное ему время.

Однако Нортон так и не получил возможности описать свою удивительную жизнь, по крайней мере в тех условиях, какие он, разумеется, предпочел бы. Но я всегда говорил, что его разум способен преодолеть любые трудности. Поэтому в апреле, через два месяца после того, как он начал отбывать наказание, я спросил его в очередном ежедневном письме, не хочет ли он все-таки заняться мемуарами. Они не только станут важным вкладом в литературу и науку, написал я, но и дадут ему наконец-то возможность показать всем желающим, что он не тот человек, каким его так стремятся изобразить. Я добавил, что сочту за честь перепечатать и, если он мне позволит, слегка отредактировать его текст, как я уже делал с разными статьями, которые он посылал в научные журналы. Для меня это будет, написал я, увлекательнейший проект, а для него – возможность немного отвлечься.

Через неделю Нортон прислал мне записку.

Не могу сказать, что мне доставляет удовольствие мысль потратить свои, возможно, последние годы на попытки убедить людей, что я не виновен в преступлениях, в которых меня обвинили, но я все-таки решил заняться, как вы говорите, «историей своей жизни». Мое доверие [к вам] [очень] велико[3 - А. Нортон Перина д-ру Рональду Кубодере, 3 мая 1998 г.].

Спустя месяц я получил первый отрывок.

Пожалуй, есть еще несколько вещей, о которых следует предварительно упомянуть, прежде чем я приглашу читателя к знакомству с удивительной жизнью Нортон. Потому что это все-таки история, в сердцевине которой кроется болезнь.

Нортон, разумеется, опишет все лучше меня, но я хотел бы сообщить читателю некоторые сведения об авторе. Однажды он сказал мне, что его настоящая жизнь началась только в тот момент, когда он впервые поехал на У'иву, где и совершил открытия, которые впоследствии преобразили современную медицину и привели к вручению Нобелевской премии. В 1950 году, в возрасте двадцати пяти лет, он отправился в малоизвестную тогда микронезийскую страну, и этому путешествию было суждено изменить его жизнь – и совершить переворот в научном сообществе. На У'иву он жил в «затерянном племени», впоследствии названном «людьми опа'иву'экэ», на острове, известном (среди у'ивцев, разумеется) как «запретный остров» Иву'иву, самый большой в той маленькой островной группе, из которой состоит государство. Именно там он обнаружил патологию – незадокументированную и доселе не известную, – распространенную среди местного населения. У жителей У'иву срок жизни был (и в значительной степени остается) недолгим. Но на Иву'иву Нортон обнаружил группу островитян, которые жили намного дольше: на двадцать, пятьдесят, даже на сто лет. Были и еще два обстоятельства, сделавших открытие особенно невероятным: во-первых, в этом состоянии люди физически не старели, но их умственные способности ухудшались; во-вторых, это состояние было не врожденным, а приобретенным.

Человек никогда не подступал ближе к вечной жизни, чем при столкновении с открытием Нортон. И вместе с тем подобная удивительная возможность никогда не исчезала так мгновенно: тайна была открыта и утрачена в течение всего лишь одного десятилетия.

Работа Нортон среди людей опа'иву'экэ отразила радикальные изменения, выходящие за рамки медицины: почти два десятилетия, которые он провел среди членов племени, породили новое направление современной медицинской антропологии, и его работы тех лет сейчас входят в основные программы многих университетских курсов.

Но и его беды тоже начались на У'иву[4 - Когда я упоминаю У'иву, я имею в виду страну в целом, а не конкретный остров; как вскоре станет ясно, Нортон провел большую часть времени на острове Иву'иву.]. В странствиях Нортон по У'иву произошли события, вызвавшие его непроходящую любовь к детям. Для читателей, не знакомых с местностью, следует пояснить, что Иву'иву – необычный остров, который не только очаровывает, но и подавляет своей красотой. Там всё больше, чище и невероятнее, чем можно вообразить, и в

каждом направлении открываются все более картинные виды: с одной стороны – бесконечное пространство воды, такое неподвижное, такого насыщенного цвета, что на него невозможно долго смотреть; с другой стороны – длинные, глубокие складки гор, чьи вершины исчезают в пенистом тумане. С первого приезда на Иву’иву Нортон нанимал у’ивцев в качестве проводников, чтобы они вели его к тем местам и вещам, которых он никогда раньше не видел. Прошли долгие годы, и он – по их настойчивым просьбам – стал увозить с собой в Мэриленд их детей и внуков, растить их как своих собственных, давая им такое воспитание, какого они не могли получить на У’иву. Кроме того, он привез в Америку многих сирот, младенцев и детей постарше, прежде прозябавших в жутких условиях без всякой надежды на лучшую жизнь.

Он и заметить не успел, как собрал выводок из сорока с лишним детей. Многие из них, усыновленные и удочеренные тремя большими партиями на протяжении почти трех десятилетий, вернулись в Микронезию, где трудятся сейчас врачами, юристами, университетскими преподавателями, поварами, учителями и дипломатами. Другие предпочли остаться в Соединенных Штатах, где они работают или продолжают учиться. Есть, к сожалению, и третья группа; ее члены обнищали и скатились к жизни наркоманов и преступников. (Когда у тебя сорок три ребенка, нельзя ожидать, что все добьются успеха.) Но теперь, конечно, никто из них больше не считается ребенком Нортон. И Нортон, по их собственному выбору, больше не считается их родителем: это почти массовое отречение в ходе недавнего процесса оказалось просто чудовищным. Этот человек, в конце концов, дал им крышу над головой, язык, образование – те инструменты, при помощи которых они могли его предать, что в результате и сделали. Дети Нортон слишком хорошо выучили язык Запада, язык Америки; откуда-то они узнали, что обвинения в извращениях – беспроегрышный трюк, что с ними не сможет справиться даже Нобелевская премия, даже уважаемый ученый. Очень жаль; когда-то ко многим из них я питал теплые чувства.

Второе, что, наверное, следует сказать: несмотря на мой очевидный интерес к этому рассказу, это не мой рассказ. Я человек тихий. Кроме того, у меня нет желания рассказывать свою историю – разных историй в наши дни и так слишком много.

Но все же я должен сказать несколько слов о том, как составлялось и редактировалось это повествование. Моя редакторская работа в общем-то была минимальной. Надо также добавить, что каждый раздел (названия им дал я) –

это серия отдельных записей, которые я получал от Нортонa, пока он находился в заключении. Каждая такая запись предварялась письмом, но эти письма в основном чисто личные, и я не считал возможным включать их сюда. Текст создавался по частям, и читатель заметит, что иногда он приобретает спонтанный, нераспланированный характер, предполагающий, что читатель знаком с жизнью и трудами автора. Поскольку никто не знает Нортонa лучше меня (и поскольку книга была, по сути дела, написана для меня, по моей просьбе), я считал своей обязанностью добавить сноски там, где, по моему мнению, дополнительная информация может помочь читателю разобраться в повествовании Нортонa. (Иногда я добавлял свои соображения, как бы расширяя летопись Нортонa. Кроме того, я бережно вырезал ряд фрагментов, которые, на мой взгляд, не обогащают повествование и не очень важны; эти пропуски не должны отвлечь читателя от созданного Нортонoм автопортрета.)

И наконец, будет справедливо обратиться к вопросу, который Нортон задавал в письме еще до начала работы над первой частью: чего я надеюсь добиться этим проектом? Ответ прост: я хочу ни больше ни меньше восстановить репутацию Нортонa, напомнить миру, что двум последним годам предшествовало нечто гораздо более важное, чем то, что произошло или не произошло за несколько быстротечных месяцев. Может быть, это наивно с моей стороны. Но попытаться нужно: не совершить подобное усилие ради человека, так много сделавшего для науки и медицины, было бы как минимум непростительно.

Рональд Кубодера

Пало-Альто, Калифорния

Воспоминания А. Нортонa Перины

Под редакцией д-ра Рональда Кубодеры

Часть I

Я родился в 1924 году в штате Индиана возле Линдона, небольшого и неприметного городка, который лет за двадцать до моего рождения начал тихо, но настойчиво умножаться по всему Среднему Западу. Я имею в виду, что город, как мне помнится, отличался разве что полным отсутствием характерных черт. Там были элеваторы, амбары красного цвета (большинство жителей работали на фермах), магазины, церкви, священники, и врачи, и учителя, и мужчины, и женщины, и дети – эскиз американского общества, но без украшений, без дополнений, без деталей. Были там и несколько пьяниц, и местный псих, и кошки с собаками, и окружная ярмарка, что проводилась совместно с Локастом, пригородом в нескольких милях к западу, которого больше нет. Горожане – нас было тысяча восемьсот человек – рождались, шли в школу, трудились, становились фермерами, вступали в брак с другими жителями Линдона и заводили собственные семьи. Увидев кого-нибудь на улице, ты ему кивал или – мужская версия – прикасался к полям шляпы. Менялись времена года, росли и заготавливались табак и кукуруза. Таков был Линдон.

Нас было четверо в семье: отец, мать, Оуэн и я[5 - Оуэн, о котором говорит Нортон, – это Оуэн С. Перины, брат-близнец Нортон, один из тех немногих взрослых людей, с которыми у него на протяжении многих лет продолжались важные и осмысленные отношения. В отличие от Нортон, Оуэн всегда интересовался литературой; в наши дни он известный поэт и профессор поэзии по стипендии Филд-Пэти в Бард-колледже. Он дважды получал Национальную книжную премию США в поэтической категории: за сборник «Насекомые ноги и другие стихотворения» (1984) и «Книга под подушкой Филипа Перины» (1995), имеет и многие другие награды. Оуэн так же славится своей неразговорчивостью, как Нортон – громкими суждениями, и однажды, на рождественских каникулах у Нортон несколько лет назад, я наблюдал крайне интересный их диалог. Нортон расхаживал по гостиной с полной горстью орехов, плевал, жевал, жестикулировал, высказывался обо всем, от умирающего искусства прищипливания коллекционных бабочек до странной привлекательности некоторого телевизионного ток-шоу, а напротив, сгорбившись его мрачным зеркальным отражением, сидел Оуэн, который время от времени что-то согласно или несогласно бормотал или хмыкал. К сожалению, Нортон с братом сейчас непримиримо разошлись. Как станет ясно из этого

повествования, их разрыв оказался внезапным и разрушительным; он стал результатом чудовищного предательства, которое Нортон никогда не сможет простить.]. Мы жили на стоаковом участке, в покосившемся доме с единственной интересной особенностью – массивной, некогда величественной центральной лестницей, которую поколения термитов давно превратили в кружевные руины.

Примерно в миле за домом бежал петляющий ручей, слишком маленький и поведенчески непоследовательный, чтобы как-нибудь называться. Каждой весной, в марте и апреле, после оттепели он преодолевал свою слабость и превращался в настоящую реку, набухшую и яростную от галлонов растаявшего снега и весеннего дождя. В эти месяцы сама природа ручья менялась. Он становился безжалостным и целеустремленным, с корнем срывал со своих заросших берегов крошечные звездные побеги лапчатки и тимьяна и швырял их вниз по течению, где они пропадали в недрах плотины, давным-давно построенной кем-то неизвестным. Гольяны, жившие в ручье круглый год, с боем шли вверх по течению и там тонули. Только в это время года у ручья появлялся собственный голос – возмущенный и властный рев стремительной воды, – и узкий приток, обычно такой спокойный и бесхарактерный, превращался в эти месяцы во что-то пугающее и непредсказуемое, и нам советовали держаться от него подальше.

Но в жаркие летние месяцы ручей – его исток находился не на нашем участке, а у Мюллеров, живших милях в пяти к востоку, – снова высыхал до безобидной струйки, которая испуганно пробиралась мимо нашей фермы. Воздух над ним шумел облаками комаров и стрекоз, пиявки прятались на мягком илистом дне. Мы ходили туда на рыбалку, плавали, а потом карабкались по невысокому холму к нашему дому, почесывая волдыри от комариных укусов на руках и ногах, пока они не покрывались налетом старой кожи и новой крови.

Отец никогда не спускался к ручью, но мать часто сидела на прибрежной траве и глядела, как вода плещется вокруг ее голеней. Когда мы были совсем маленькие, мы кричали ей: «Посмотри на нас!» – а она сонно поднимала голову и махала рукой, хотя именно нам помахать она могла с той же вероятностью что и, скажем, соседнему побегу дуба. (Зрение у нашей матери было нормальное, но она часто вела себя как слепая и двигалась как лунатик.) Когда нам с Оуэном было лет семь-восемь или около того (так или иначе, недостаточно, чтобы уже разочароваться в ней), она стала вызывать у нас сначала сожаление, а затем, довольно скоро, смех. И вот она сидела на берегу, обхватив колени руками, и мы

махали ей, но потом, когда она махала нам в ответ (не только кистью, а всей рукой, как пучок водорослей, который шевелится под водой), отворачивались, громко разговаривали друг с другом, притворялись, будто не видим ее. Позже, за ужином, когда она спрашивала, что мы делали у ручья, мы разыгрывали изумление, непонимание. У ручья? Нас же там не было! Мы весь день играли в поле.

– Но я вас там видела, – говорила она.

Нет, отвечали мы хором, мотая головами. Наверное, это были другие два мальчика. Два мальчика, которые выглядели точно как мы.

– Но... – начинала она, и на мгновение ее лицо застывало в недоумении, прежде чем разгладиться. – Ну, наверное, – неуверенно говорила она, уставившись в тарелку.

Этот разговор происходил по несколько раз в месяц. Для нас это была игра, но игра тревожная. Играла ли наша мать с нами вместе? Слишком уж непосредственно, слишком явно отражалось на ее лице неподдельное беспокойство, страх, что она, как мы тогда говорили, не в себе, что она не может доверять своему зрению и памяти. Мы решили для себя, что она притворяется, потому что иная версия – что она сумасшедшая или, хуже того, идиотка – слишком пугала, чтобы рассматривать ее всерьез. Позже, в нашей комнате, мы с Оуэном передразнивали ее («Но... но... но... это же были вы!») и хохотали, а потом, молча лежа в своих кроватях и размышляя о смысле этой игры, чувствовали, что нам становится не по себе. Нам было немного лет, но мы оба знали (из книг, от сверстников), что именно ожидается от матери – мать должна порицать, обучать, направлять, наказывать в случае необходимости, и вместе с тем знали, что наша мать такие задачи выполнять не способна. Во что же мы вырастем, размышляли мы, на попечении этой женщины? Почему она такая беспомощная? Мы относились к ней так, как большинство мальчиков относится, должно быть, к мелким животным: в веселом и добром настроении – ласково, в иных случаях – жестоко. Нас завораживала мысль, что мы можем своей властью расслабить ее плечи, заставить губы сложиться в неуверенную улыбку, или же наоборот – заставить ее опустить глаза, быстро провести ладонью по ноге, как она делала в состоянии нервном, несчастливом или смущенном. О своих опасениях мы никогда вслух не говорили; любые наши разговоры о ней были оттенены насмешкой или отвращением. Беспокойство притягивало нас друг к другу, делало еще напористее, еще несноснее. Конечно, думали мы, нам удастся

подтолкнуть ее к тому пределу, за которым покажется настоящий взрослый, так искусно скрываемый. Как большинство детей, мы считали, что все взрослые от природы наделены способностью угрожать и подчинять.

Дело было не только в том, что ей не хватало осмысленности – по ряду существенных причин мою мать можно было счесть неудачницей. Она готовила кое-как (брокколи на пару получалось резиновым, головки щетинились хрустящими остовами крошечных незамеченных жучков, запеченная курица сочилась кровью) и прибиралась редко – отец купил ей пылесос, но он стоял заброшенный в чулане, пока мы с Оуэном в один прекрасный день не разобрали его на части. Интересов никаких у нее тоже, кажется, не было. Мы ни разу не видели, чтобы она читала, писала, рисовала, садовничала – занималась чем-то, что (даже тогда) казалось бы нам ценным и интересным. Летом, ближе к вечеру, мы иногда заставляли ее в гостиной; она сидела на диване, по-девичьи поджав под себя ноги, с глупой улыбкой на лице, неотрывно, но безучастно уставившись на обширное созвездие пыли, проявившееся в солнечном луче.

Однажды я увидел ее за молитвой. После школы, днем, я зашел в гостиную и обнаружил, что она стоит на коленях, сложив ладони, подняв голову. Губы ее двигались, но я не слышал, что она говорит. Она выглядела нелепо, как актриса, что-то изображающая в пустом театре, и мне стало за нее неловко. «Что ты делаешь?» – спросил я, и она встревоженно обернулась. «Ничего», – испуганно ответила она. Но я знал, что она делает, и что она лжет – тоже знал.

Что еще я могу сказать? Я могу сказать, что она была неясной, переменчивой, может быть, даже глупой. Но мне придется добавить, что она осталась для меня загадкой, а этого любому человеку добиться нелегко. И есть другие вещи, которые я о ней тоже помню: она была высокая, грациозная, и хотя я не могу толком вспомнить ее лицо, знаю, что она была довольно красива. Старая, нерезкая сепийная фотография, что висит у Оуэна в кабинете, это подтверждает. Наверное, в те времена она не считалась такой красавицей, какой ее сочли бы сейчас, потому что ее лицо опережало время – оно было длинное, белое, напуганное; лицо, обещающее ум, тайну, глубину. Сегодня ее назвали бы притягательной. Но отец, видимо, считал ее очень красивой, потому что трудно представить, по какой еще причине он мог бы на ней жениться. В тех редких случаях, когда мой отец вообще заговаривал о женщинах, он отдавал должное образованным, хотя совершенно не считал их сексуально привлекательными. Думаю, причина заключалась в том, что умные женщины напоминали ему сестру, Сибил, которая работала врачом в Рочестере и которую

он обожал. А ему досталась лишь красота. Когда в подростковые годы я осознал, что отец женился на матери только из-за ее красоты, я был разочарован, но позже понял, что у родителей много способов нас разочаровать и лучше вообще ничего не ожидать от них, потому что, скорее всего, никаких ожиданий они не оправдают.

Но по большей части она была непознаваема. Я даже не знаю, откуда именно она взялась (кажется, откуда-то из Небраски), но знаю, что она была родом из бедной семьи и мой отец, человек с относительным достатком и неприхотливым нравом, ее спас. Интересно, что, несмотря на всю ее бедность, в ней не было ничего изнуренного или усталого; она не казалась ни истощенной, ни заглубившейся. Скорее она производила впечатление одной из тех беззаботных женщин, которые из родительского дома перетекают в пансион благородных девиц, а оттуда – в объятия супруга. (Сияние, которое словно окутывает ее на фотографии Оуэна, ее ранняя, тихая смерть, ее сонные, медленные движения – все это придает моим воспоминаниям о ней ореол ясности, защищенности, обласканности, хоть я и знаю, что все было не так.) Насколько мне известно, образования у нее никакого не было (читая наши табели вслух отцу, она спотыкалась на словах, бубнила «Пре... пре-во...», прежде чем Оуэн или я выкрикивал ей слово «превосходно» – самодовольно, нетерпеливо, пристыженно), и умерла она очень молодой.

Но вообще-то она во всем была молода. В моих воспоминаниях она сама напоминает ребенка – не только поведением, но и внешним видом. Например, волосы: в любых обстоятельствах они оставались распущенными и спускались по спине неровной, подвижной волной. Даже в раннем детстве эта ее привычка меня тревожила; в ней мне виделось еще одно свидетельство тщательно, неуместно удерживаемого девичества: длинные волосы, легкая, отсутствующая улыбка, то, как она отводила взгляд, стоило начать с ней разговор, – все эти сомнительные манеры у взрослой и предположительно ответственной женщины.

Сейчас, перечисляя немногочисленные подробности материнской жизни, мне неприятно думать о том, как мало я знаю, как мало интереса всегда проявлял. Наверное, каждый ребенок стремится понять свое происхождение и своих родителей, но мне она никогда не казалась достаточно интересной, чтобы ее изучать. (Или это построение следует перевернуть?) Но я и в романтизацию прошлого никогда не верил – какая мне от этого польза? Оуэн, впрочем, потом заинтересовался нашей матерью гораздо сильнее и в студенческие годы даже некоторое время пытался отследить ее происхождение и добыть какие-то

биографические данные. Однако он забросил этот проект через несколько месяцев и на любые расспросы реагировал очень болезненно, так что могу лишь предположить, что наших родственников по материнской линии он нашел без труда, понял, что речь идет о деревенщине, и с отвращением отказался от своей затеи (тогда он еще был убежденным элитистом и мог поступить именно так)[6 - Оуэн Перина написал довольно симпатичное стихотворение о своей матери и ее смерти; оно открывает его третий сборник, «Моль и мед» (1986).]. Она всегда была для него важна по причине, которой я никогда не мог понять. Но Оуэн все-таки поэт, и он, наверное, считал, что эти подробности могут пригодиться ему в будущем, какими бы неудачными или в конечном счете разочаровывающими они ни были.

Ну так вот. Наступил июль 1933 года. Мне трудно сказать «Это был самый обычный день», потому что получается мелодраматично, зловеще и к тому же совершенно неправдоподобно. Однако все так и было. Так что – это был самый обычный день. Отец отправился куда-то со своим другом Лестером Дрю, тоже владельцем маленькой фермы, заниматься чем-то, чем занимаются владельцы маленьких ферм. Мы с Оуэном собирали в ведро пиявок, которых намеревались запечь в пироге и преподнести приходящей кухарке Иде, суровой женщине, которую мы оба терпеть не могли. Моя мать сидела у ручья и болтала ногами в воде.

На протяжении следующих недель нас с Оуэном просили вспомнить: не заметили ли мы в ней чего-нибудь особенного в тот день? Не показалась ли она нам вялой, больной, утомленной? Не говорила ли она нам, что у нее кружится голова, что она устала? Но мы могли только ответить «нет». На самом деле я, скорее всего, мало что могу сказать о действиях или настроении матери в тот день потому, что все это было очень похоже на ее нормальное поведение, которое, безусловно, порой раздражало, но никакой непоследовательности в нем не было. Даже последний день ее жизни оказался подчинен тому неисповедимому ритму, который только она и могла расшифровать.

На следующее утро мы с Оуэном по летнему обычаю спали долго. Когда я проснулся – Оуэн все еще спал в соседней кровати, – уже стояла жара. От нас мало что требовали. В отличие от других детей, мы не должны были заниматься никакими домашними делами и могли заполнять дни по своему усмотрению. В результате наши летние месяцы проходили в беззаботных занятиях – мы мучали лягушек у ручья, воровали абрикосы в саду Лестера Дрю, ползали по высокой,

цепкой траве за семейством сурков. По утрам мы просыпались когда захотим, ели то, что оставили нам на кухне, и отправлялись по своим делам. Иногда на кухне оказывался мой отец с Лестером Дрю; он скручивал папиросу, а на столе нездоровым блеском сырой плоти сверкала тарелка красных нарезанных персиков. Мужчины хмыкали нам, мы хмыкали им в ответ, и за столом все сидели в молчании.

В то утро, когда я вышел на кухню, они были на месте, но там оказались еще два человека – Джон Нейплес, городской врач, и преподобный Каннингем, городской священник; все тихо разговаривали. Когда я вошел, они замолчали. Мой отец был бесстрастный человек, стоический и не склонный к проявлению эмоций. (У него было большое, квадратное лицо и глаза мутно-оливкового цвета каперсов.) Поэтому когда он выказывал какую-либо эмоцию, это вызывало беспокойство или как минимум любопытство. Я должен сказать, что помню выражение его лица в то утро – смесь удивления, оцепенения и замешательства – существенно лучше, чем собственно лицо.

– Твоя мать умерла, – сказал отец. Это прозвучало спокойно и серьезно, и говорил он обычным тоном, противоречившим выражению лица, – его голос меня даже успокоил.

– Ну Джозеф, – сказал преподобный Каннингем.

– Лучше, чтобы он услышал все как есть, без обиняков, – сказал отец. Новость он сообщил, глядя мне прямо в глаза. Теперь он отвернулся и обратился к чему-то над головой преподобного Каннингема: – Я полагаю, ваше преподобие, вы сделаете с телом все... все, что она хотела сделать.

После этого он хлопнул в ладоши – это был лаконичный, окончательный жест – и через заднюю дверь вышел во двор. Бросив на меня долгий и скорбный взгляд, Лестер засеменял за ним, оставив меня с преподобным Каннингемом, который вздохнул, и с Джоном Нейплесом, который нахмурился.

– Ты! – сказал мне Нейплес. – У тебя ведь брат где-то?

Он знал про моего брата. Прошлым летом мы с Оуэном наловили зеленых ужей и по очереди, по одному извивающемуся телу, запустили их в почтовый ящик клиники Нейплеса. Это была всего лишь детская забава, но он разозлился и так

нас и не простил. Это был озлобленный, жесткий человек, разъедаемый чувством несовершенства мира, такой человек, который на улице швыряет носком ботинка клубы пыли в сторону детей просто потому, что они ничем не смогут ответить.

– Тебе что, не интересно, как умерла твоя мать? – спросил он.

– Нейплес! – сказал преподобный Каннингем.

Нейплес не обращал внимания на преподобного Каннингема.

– Комары эти, которые водятся возле вашего ручья, – продолжил он. – Я как врач считаю, что они переносят штамм китайского гриппа. Комары переносят заразу, а ваша мать забрела в отстойник, кишачий бактериями, и сама себя погубила. – Он с удовлетворенным видом откинулся на спинку стула и затянулся трубкой. – Если вы с братом будете шастать к этому ручью, так же и помрете.

Преподобный Каннингем был в ужасе.

– Ну Нейплес! – сказал он и, опустошив свои ресурсы этим упреком, тоже вышел через заднюю дверь. Меня это не удивило, я многого от него и не ожидал – не просто потому, что он был священник, а потому, что он выглядел таким приниженным. Его лицо запоминалось не тем, что в нем было, а тем, чего не было, – мертвенно-изможденные щеки выглядели так, как будто кто-то склонился к нему, двумя быстрыми движениями вычерпал плоть и отправил его дальше своей дорогой.

Нейплес пожал плечами. В отличие от остальных, он уходить не собирался. Мы с Оуэном давно заметили, что, если говорить со взрослыми так, как будто они немного тугодумны и даже неполноценны, как будто они надоедливые существа, которых мы приучились терпеть, они от изумления нередко сообщают нам важные сведения и разговаривают тоном, каким обычно никогда бы не стали разговаривать с ребенком. Этот трюк, однако, не оказывал подобного воздействия на Нейплеса; высокомерие придавало ему очень неудобную неколебимость.

– Что еще за ерунда этот китайский грипп? – спросил я.

Нейплес пыхнул трубкой.

– Тебе не понять, – огрызнулся он.

– По-моему, вы это выдумали.

– А по-моему, ты наглый мальчишка. Оба вы с братом такие.

– Выдумали ведь, признавайтесь?

– Эй, парень, поосторожнее.

– Так что это такое?

После еще нескольких раундов моих вопросов и его угроз Нейплес наконец вздохнул и сдался.

– Это капельное заболевание, которое распространяют комары. Один из них укусил твою мать, она заболела и умерла.

Объяснение выглядело логичным, и я затих. С минуту мы сидели в тишине, и каждый, должно быть, думал о ее несколько нелепой кончине. Потом Нейплес вспомнил, что отвечал на мой вопрос не по своей воле, и вновь собрался с силами.

– Удивляюсь, что твоя мать не покончила с собой, – сказал он. – Видит бог, будь я твоим родителем – не преминул бы. – Взгляд Нейплеса загорелся от триумфа и предвкушения.

Его слова меня не задели, но он, видимо, принял мое молчание за обиду и, удовлетворенно выбив пепел из трубки в аккуратный муравейник на столе, вышел через парадную дверь, захлопнув ее за собой. Он удалялся по дорожке, и я слышал, как он насвистывает, пока звук не ослаб, а потом совсем не затих, оставив за собой только жужжание роя летних насекомых. Со мной впервые поговорили как со взрослым.

Но именно он, Джон Нейплес, провинциальный, самовлюбленный, десятиразрядный врач, дал толчок моему интересу к патологии. Он сделал это неумышленно – я сомневаюсь, что он рассказал мне о смерти моей матери в таких прямолинейных выражениях, потому что планировал поговорить со мной по-взрослому; это был просто мелочный, жестокий человек, который наверняка лишь старался вызвать у меня слезы, – но его прямолинейное и ошибочное объяснение впервые позволило мне заглянуть в мир болезни и увидеть его строгую, блистательную загадочность.

Даже в этом возрасте Оуэн интересовался словами: он читал словари и всяческие книги, он любил разнообразные словесные игры – анаграммы, каламбуры, палиндромы. Он мог весь день развлекаться цепочкой рифм, которую обнаружил или придумал сам. И хотя читать я тоже любил, языковой спорт меня никогда не привлекал так, как Оуэна. С моей точки зрения, у языка нет собственного врожденного разума – его создал человек, человек наделил его значением, и поэтому изощренное писание часто казалось мне в лучшем случае китайской головоломкой. Писателей часто хвалят за умение обращаться с чем-то рукотворным, чем-то, что можно менять или приспосабливать по желанию; но почему изменение рукотворной конструкции считается чем-то выдающимся? Возможно, смысл моего высказывания неясен, поэтому позвольте выразиться иначе: у языка нет неотъемлемых секретов.

Но наука, особенно наука о заболеваниях, целиком состояла из восхитительных секретов, из темных, маслянистых угодий тайны. Язык можно неправильно истолковать и воспринять, его правила – применять и игнорировать по желанию. В этом нет строгости. Иногда все это кажется игрой, придуманной для забавы, – именно так это и представлял себе Оуэн. Но болезнь, вирус, шевелящаяся цепочка бактерий существуют независимо от существования человека, и проникновение в их секреты зависит от нас самих.

Джон Нейплес, конечно, не думал о болезни именно так (очевидный пример слабого интеллекта – это врач, который настаивает, что усилия следует сконцентрировать на пациенте, а не на болезни), но он заслуживает упоминания в качестве предупредительной фигуры в моей жизни, человека из числа тех, с кем я сейчас общался бы, не выбери я путь исследовательской медицины. Даже тогда я понимал, что несовершенные объяснения меня не удовлетворят. Мне просто не хватило бы терпения.

Последнее слово, к счастью, осталось не за Нейплесом. Мой отец был человеком ленивым, но глупым он не был, и в этом деле повел себя на удивление энергично. В течение дня, связавшись с сестрой в Рочестере (сообщить новость Оуэну у него руки не дошли, и это пришлось сделать мне, когда тот наконец выполз на кухню, недовольно потирая глаза), он позвонил однокашнику Сибил, жившему в Индианаполисе, а тот позвонил своему приятелю, жившему в Крофордсвилле, городке милях в пятидесяти к востоку от нашего. Этот врач – некий доктор Бернс – организовал доставку моей матери в его клинику для вскрытия.

На следующей неделе он прислал нам свой отчет, в котором говорилось, что моя мать умерла не от китайского гриппа («Лично я не знаком с этим заболеванием, хотя должен признать, что, будучи патологоанатомом, я, вероятно, не так хорошо разбираюсь в местных болезнях, как мой многоуважаемый коллега д-р Джон М. Нейплес», – дипломатично написал Бернс в сопроводительном письме), а от аневризмы. От аневризмы! После того как Сибил мне все объяснила, я часто представлял себе, что произошло, почти слышал мягкий взрыв артерии, видел хлюпкую, вялую ткань, черную кровь, которая окрашивает мозг сияющим, клейким красным цветом граната. (Позже, подростком, застигнутый внезапным чувством вины, я думал: «Такая молодая! Как несправедливо!» А еще позже, взрослым, когда мне уже было достаточно лет, чтобы всерьез размышлять о собственной смерти и ее предпочтительных обстоятельствах, думал: «Как картинно!» Я представлял себе падучие звезды, фейерверки, роскошные капли света, летящие с неба подобно тысячам сверкающих драгоценных осколков, каждый из которых не больше сеянца, и почти завидовал своей матери, ее последнему величественному ощущению.)

«Она не почувствовала никакой боли, – написала мне Сибил. – Это была хорошая смерть. Ей повезло».

Хорошая смерть. Я часто думал про это выражение, пока не стал врачом и не понял, что Сибил имела в виду. Но в детстве эти слова были так же таинственны, как само представление о смерти. Хорошая смерть. Моя мать – кто-то, кому досталась хорошая смерть. Мечтательница, тень, получившая главный дар, какой только может дать природа. В ту ночь она скрылась под своим покрывалом так же тихо, как опускала ноги в бледный, журчащий ручей, и закрыла глаза, не зная и не боясь тех краев, где она теперь окажется.

На протяжении многих лет мать снилась мне в причудливых видениях, и ее черты соединялись с другими существами в сочетаниях, казавшихся одновременно гротескными и глубокими: как скользкая белая рыба у меня на крючке, с разинутым, скорбным ртом форели и темными, зажмуренными глазами; как вяз на краю нашего участка, у которого вместо ободранных клочьев потускневшей золотой листвы развевались спутанные клубы ее черных волос; как хромая серая собака, которая жила на участке Мюллеров, чей рот – ее рот – мучительно раскрывался и закрывался, не издавая ни звука. Когда я повзрослел, я понял, что моей матери смерть далась легко; чтобы бояться смерти, нужно, чтобы для начала тебя что-нибудь привязывало к жизни. Но у нее такого не было. Как будто она готовилась к смерти все то время, что я ее знал. Вот она жива сегодня, а завтра – нет.

И, как сказала Сибил, ей повезло. Ведь что еще мы можем просить у смерти, кроме доброты?

После этого остались мы с Оуэном и отец. Я вкратце уже упоминал об отце, которого мы не то чтобы любили, но выносить его, безусловно, было легче, чем мать, хотя их одинаковое нежелание привязываться к практическим деталям мира могло кого угодно свести с ума. Мать обнаружила удачу в смерти, а отец давным-давно считал удачу своим неотъемлемым правом.

Отец родился и вырос в соседнем городке под названием Пит, про который вы тоже ничего не слышали. Сегодня Пит почти заброшен; он становится все более печальным и пустым с каждым проходящим годом, а дети вырастают и уезжают, чтобы никогда в него не вернуться. Но в годы молодости отца Пит был по-своему важным городом. Там находилась собственная железнодорожная станция, которая дала толчок небольшому, но здоровому местному хозяйству. Там была, например, гостиница, и мюзик-холл, и Главная улица, вдоль которой располагались двухэтажные деревянные магазины, покрашенные в цвета воды и скал. Путешественники, направляющиеся на запад в Калифорнию, останавливались в Пите, чтобы съесть сэндвич с яичным салатом и выпить сельдереистой газировки в станционной лавке, прежде чем снова сесть в вагон. Горожане богатели от этих коротких отношений, которые были по-своему чисты: обмен денег на товары, вежливое прощание, уверенность, что стороны друг друга больше никогда не увидят. В конце концов, разве не в точности такова большая часть отношений в нашей жизни, разве что нерешительно растянутая на годы и поколения?

Родители отца, оба родом из семей венгерских иммигрантов, владели пристанционным магазином. В отличие от сына, они были склонны к неустанному труду, бережливости и разумному вложению денег. В 1911 году, когда отец оканчивал колледж, они почти одновременно умерли от гриппа. Отец с сестрой унаследовали родительский магазин, дом, семьдесят акров сельскохозяйственных угодий в Линдоне, а также их сбережения. Как и в случае со смертью моей матери, отец повел себя разумно и расчетливо. Он продал магазин и дом в Пите, заплатил налоги, организовал похороны и открыл накопительный счет для сестры. Сибил, которая как раз оканчивала школу, использовала часть своих денег, чтобы оплатить учебу в Уэллсли. По сравнению с ней отец был ленив: он отучился в Пердью и переехал в Линдон, где построил дом и каждый год увеличивал свой участок еще на несколько акров. Когда Сибил поступила на медицинское отделение Северо-Западного университета, отец выращивал соевые бобы, зеленые бобы, желтые бобы. У него родились сыновья. Позже он пошел работать на местную железнодорожную станцию администратором по расписанию. Он добился в жизни всего, чего хотел.

Материнские понятия от меня ускользали, а отцовские бесили. Насколько я мог определить, его интересовало только стремление к состоянию полной и безграничной инертности. Меня это почти неописуемо раздражало. Для начала, мы жили в стране, где ценность человека определялась его трудолюбием. Не то чтобы мы с Оуэном хоть немного беспокоились о том, что горожане считают хорошим и правильным; просто так сложилось, что чувствовали мы то же самое – в поведении отца есть что-то постыдное, может быть, даже непристойное. Надо учесть, что все это происходило в эпоху Депрессии. Мы слышали рассказы о детях, брошенных родителями, видели на снимках отчаявшихся, умученных людей, стоящих в очереди за миской супа, за работой, за займом. Однако отца – лишенного честолубия, спокойного, на редкость нецелеустремленного – все беды каким-то образом обошли стороной. Я вспоминаю, как вечерами сидел за нашим кухонным столом и ерзал от нетерпения, ожидая, чтобы отец накричал на меня, выбранил, побил ради моего же усердия и упорства, чтобы, глядя на меня, он надеялся на большее, чем я сам. Но отец просто сидел напротив, мечтательно насвистывал модную мелодию и скручивал себе сигареты. В его щетинистых усах застревали кукурузные зерна, остатки второпях приготовленного ужина, и когда я на это ему указывал, он лениво высовывал язык и проводил им вокруг рта и носа грациозным змеиным движением, не прекращая напевать. Этот беззаботный, бездумный жест раздражал меня больше всего. Сейчас мое лицемерное возмущение кажется немного смешным: конечно, постоянная тупая удача отца мне невероятно помогла, но тогда мне казалось, что для нас с

Оуэном это бесполезно. Если уж ты рос в нашем доме, следовало признать, что удача падает с неба с обнадеживающим грохотом и ни к чему, даже к возможности приобрести огромное состояние, не стоит стремиться. Собственно, никакой капиталистический задор и не участвовал в накоплении отцовских денег – нет, что случалось, то случалось, и в тех немногих случаях, когда он принимал неудачные хозяйственные решения, он об этом тоже не жалел.

Такое положение дел меня злило – ведь благополучные дети ничего не хотят так страстно, как романтической бедности. Нередко мне доводилось мечтать о других родителях – изможденных иммигрантах, для которых я оставался бы единственной надеждой. Меня очень трогали сентиментальные детские повести вроде «Серебряных коньков», и я представлял членов своей семьи героями подобного сюжета. Мой отец представал жертвой удара, беспомощным и слюнявым, а Оуэн – увечным и слабоумным младшим братом. Я был первопроходцем и героем, суровым и к тому же находчивым. В образовании крылась единственная надежда всей моей семьи. От моих академических успехов зависело все; я стал врачом и вытащил нас всех из отчаяния и нечистот в элегантные, благоустроенные жилища. В этой фантазии мои руки, преобразенные до волшебства годами американского образования, вылечивали бедного отца, который немедленно принимался за работу, невзирая на мои возражения. Мать, сильная и решительная, вернув былую красоту, улыбалась впервые за долгие годы, а брат, после оплаты приличного образования, учился разговаривать, учился двигаться как атлет. Как я мечтал о таких устремлениях! Но в реальности приходилось сопротивляться не грузу нищеты, а удовлетворенно и решительно малоподвижному отцу и безбедному детству, которому я бы мог радоваться, если бы был меньше склонен его отрицать.

Но ведь у меня была еще и Сибил. Я уже упоминал, что отец питал к Сибил величайшее уважение; думаю, не будет преувеличением сказать, что он даже преклонялся перед ней. Конечно, ему она представлялась такой же загадкой, как он – мне: как мог некто столь трудолюбивый, умный, деятельный произойти из той же семьи, что и он?

Однако же не все были в таком восторге от Сибил. В те годы завистливые или мелочные люди часто говорили, как хорошо, что Сибил может себя обеспечивать, ведь никакой мужчина этого делать бы не стал. Если бы у них потребовали объяснений, они бы сказали, что имеют в виду всего лишь ее независимость и прямолинейность, но, конечно, любой понимал, что они имеют в виду на самом деле: Сибил с ее растрепанным пучком волос считалась слишком

уродливой для замужества – и так и не вышла замуж. Сибил была на четыре года младше отца, но когда в 1945 году она умирала от рака груди, то, по моим понятиям, выглядела гораздо старше своих пятидесяти двух лет. Люди считали Сибил странной всю ее жизнь, и к тому моменту, когда она открыла педиатрическую практику в Рочестере, она, видимо, смирилась с положением бесполой старой девы из провинциального городка.

Это обидно по множеству причин, но главным образом оттого, что из моей тетки, как я всегда считал, получился бы отличный иммунолог. Она была бесконечно, неотступно любопытной и изобретательной, уверенной в себе, но не высокомерной. Ум ее отличался широким охватом и мог совершать те балетные прыжки в рассуждении и анализе, на какие способен только истинный талант. Казалось, что она знает все, и когда я поступил в медицинскую школу, она призналась, что сама хотела посвятить жизнь «медицинским приключениям» (как и она, я не вполне понимал, что именно может включать такая работа, – мы только знали, что оба хотим этим заниматься), но никогда не могла этого сделать[7 - Можно лишь вообразить, какую жизнь могла бы прожить Сибил Мария Перина (1893–1945), родись она на пятьдесят лет позже. Великий профессор-медик и анатом Э. Исая Уиткинсон, под чьим руководством она училась в Северо-Западном университете, даже писал про нее одному из своих коллег в 1911 году:«[Эта] ученица наделена множеством талантов, равно как элегантностью и сноровкой. Научному сообществу остается лишь пожалеть, что она не сможет заниматься медицинскими исследованиями. Я даже настоятельно советовал [ей] подумать о поездке за границу с христианскими миссионерами – этот шаг, к сожалению, предоставил бы ей большую независимость и большие возможности, чем любой университет. Однако она отказалась – от неотступного ли желания остаться рядом с семьей (недостаток, свойственный многим студенткам) или опасаясь тяжелых трудов в неясных обстоятельствах, сказать не могу. Бесспорно, она способна заниматься любым ремеслом, хотя, скорее всего, прирожденный домашний консерватизм спутает ее тенетами какой-нибудь непритязательной провинциальной врачебной практики. Ей станет скучно; ей станет противно». («Жизнь врача. Письма Э. Исая Уиткинсона». Под редакцией Фрэнсиса Клэппа. Нью-Йорк, «Коламбия-Юниверсити-Пресс», 1984.)К сожалению, Сибил не опровергла мрачные, но пророческие предсказания Уиткинсона. Ее некролог в газете «Рочестерские безделицы» оскорбительно короткий и отчаянно печален: «Доктор Перина работала врачом в Рочестере на протяжении тридцати с лишним лет... Она никогда не была замужем и наследников не оставила». Тем не менее Сибил все-таки оставила великое наследие; как не раз говорил Нортон, именно она направила его к миру научных открытий и возможностей. Так что неосуществленные мечты Сибил, можно

сказать, возродились в одном из самых выдающихся медицинских умов современности: он добился для нее того, что было не под силу ей самой.]. Позже она с той же застенчивостью призналась, что всегда хотела детей, и сказала, что, чем бы я ни занимался в жизни, собственных детей завести надо. Она пообещала, что ничто не принесет мне большей радости. Естественно, в последнее время я много об этом думал – по понятным причинам. Сибил была права и разумна во многом; как получилось, что в этом она так ошиблась?

Ребенком я часто виделся с Сибил. До смерти матери она проводила с нами несколько недель каждое лето (а после приезжала еще чаще). Пациентов она перенаправляла к другому местному педиатру и приезжала с подарками для нас всех. Моей матери, которую она не очень понимала, Сибил привозила что-нибудь легкомысленное и красивое, отчасти из чувства неловкого снисхождения, отчасти зная, что красота и легкомыслие предмета не пропадут даром – о чем бы ни шла речь, моя мать оценит подарок, а его красота будет подчеркнута ее собственной красотой. Я помню, что однажды Сибил привезла ей шелковое набивное платье с узором из полевых цветов. Мать немедленно его надела и закружилась в нем – я по сей день вижу, как она кружится в гостиной, вижу маслянистую, сливочную смазанность шелка. Сибил никогда не знала, что сказать нашей матери, к которой, я думаю, она испытывала и жалость, и зависть – жалость, потому что мать вроде бы так довольна своей простой, неприметной жизнью; зависть – потому что она довольна, потому что у нее есть эта самая жизнь.

Отцу она привозила что-нибудь затейливое – птичку-свистульку, которую смастерил один из ее пациентов; кленовый сироп в пузырьчатом кувшине; книжку про собирание камней. Оуэну она привозила книги, головоломки, листы рисовальной бумаги, волокнистые от примеси хлопка.

Сибил хорошо относилась ко всем нам, но я, несомненно, был ее любимцем. Хотя она любила Оуэна, а он любил ее, у них никогда не было таких отношений, как у нас. По правде говоря, я всегда подозревал, что Оуэн кажется Сибил простоватым, и хотя она всячески хвалила его художественные усилия (героические поэмы, абстрактные зарисовки фермерской жизни), в этом слышалось только обобщенное восхищение; она не могла обратиться к нему с конкретным замечанием или похвалой. Нельзя сказать, что она презирала искусство или художников – но никаких серьезных попыток их понять тоже не предпринимала.

Для полноты картины мне следует добавить, что Оуэн никогда не относился к Сибил так, как я, по двум основным причинам. Первая из них даже не имела к Сибил никакого отношения. Дело было лишь в том, что Оуэн всегда приписывал некоторый мистический флер моей рассеянной матери и апатичному отцу – на общем фоне американской культуры, которую он в конечном счете объявил вульгарной и амбициозной, их бездействие представлялось ему дерзким и даже бунтарским. (А с моей точки зрения, бездействие не переходит в бунтарство.) Разумеется, у Оуэна тоже имелись фантомные родители, но если мои были инвалидами, его родители были, за неимением лучшего слова, контркультурными. Мне всегда казалось, что Оуэн больше всего жалеет о том, что не родился тридцатью годами позже у пары битников.

Другая причина, по которой Оуэн всегда был менее горячо привязан к Сибил, чем я, уже имела отношение к ней лично. Он уважал ее ум и вообще хорошо к ней относился, но при этом считал ее неэлегантной и необученной всему культурному. И хотя по сути это могло быть правдой, тем не менее – как я в прошлом не раз пытался доказать Оуэну – она все равно оставалась самым живым взрослым в нашем окружении. Если бы не она, мы бы не видели альтернативной модели взрослого поведения и могли бы склониться к менее сложным занятиям.

В общем, Сибил всегда приберегала для меня лучшие подарки: маленький микроскоп, старый стетоскоп, эпоксидную модель сердца с надписанными вручную пояснениями. Она привезла мне ящики с африканскими жуками-навозниками на листах жесткого белого картона, оправленного в черные кожаные рамы. Были еще мяч и бита, оставшиеся от раннего урока физики; старый радиоприемник, который она приволокла из Рочестера с единственной целью – показать, как его разобрать на части; толстое увеличительное стекло, к которому присовокупилась лекция по его применению, после того как она обнаружила меня на проселочной дороге за поджариванием муравьев.

На одиннадцатый день рождения Сибил подарила мне книгу, которая поначалу могла показаться не слишком уместной. «Биографии великих ученых» были написаны без вдохновения, проиллюстрированы по-детски, а оскорбительно радостный и примитивный текст словно бы предназначался для туповатого шестилетки. В сущности, это был справочник в духе «Кто есть кто», где всем «главным» ученым (имена, основные достижения и т. д. – я почти ожидал, что там будут указаны также их рост, вес и внеслужебные интересы) отводилось по короткой заметке, как будто ученых, подобно бейсболистам, можно каким-то

определенным образом ранжировать. Впрочем, должен сказать, что, сколь нелепой ни казалась мне тогда эта идея, она становится год от года все привлекательнее. (Я даже удостоился собственной статьи в последнем – 1994 года – издании. Текст, конечно, крайне примитивен, но отличается не большей неточностью, чем многие гораздо более объемистые биографические очерки[8 - Боюсь, что здесь я вынужден не согласиться с Нортон. Но пусть читатель рассудит самостоятельно. Вот начало этой заметки: Абрахам Нортон Перина. Родился в 1924 году в Линдоне, штат Индиана, США. Где живет сейчас: Бетесда, штат Мэриленд, США. Значимость: 7 [Примечание: по шкале от 1 до 10. Загадочным образом Галилею приписана десятка, как и Джонасу Солку. А Коперник заслужил лишь восьмерку.] Все мы слышали, что никто не живет вечно. Но знаете ли вы, что есть люди, которым это все-таки удается? Честное слово! Доктор Перина – он живет в Мэриленде со своими многочисленными приемными детьми, их больше пятидесяти! – обнаружил в начале 1950-х годов племя людей, которые никогда не стареют. И все потому, что они едят мясо одной редкой черепахи! В результате своих исследований доктор Перина в 1974 году получил Нобелевскую премию по медицине. Дальше в книге приводится неточное и упрощенное описание синдрома Селены.]. Статья включает также мою фотографию с Филипом[9 - Филип Таллент Перина (прибыл в 1969 г.; ок. 1960–1975) – ранний приемный ребенок Нортон, один из его любимцев. Филип был худ, ребячлив и очень темнокож. Я не был с ним знаком, но по многочисленным фотографиям, которые хранились у Нортон, представляю себе его быстрым и подвижным; на любом снимке он как будто пытается вырваться у Нортон из рук и вообще из пределов фотографии. Несмотря на живость, Филип страдал от какой-то детской патологии мозга, и его физическое развитие тоже было затруднено, возможно, в результате голодания в младенчестве. Он был сиротой и чем-то вроде деревенского талисмана, когда Нортон привез его с У’иву в 1969 году. (До того как он оказался под опекой Нортон, его знали под именем, примерно означавшим «Эй, ты!».) В 1975 году Филип попал под колеса автомобиля, которым управлял пьяный водитель; в тот момент ему было около пятнадцати лет.], ему в тот момент было лет десять. Снимок такого плохого качества, что лицо Филипа кажется просто темной окружностью, на которой белым проблеском проступает его улыбка. А я выгляжу нескладным, неуклюжим, как какой-нибудь неумелый циркач.)

Так вот – эта книга, конечно, не стала для меня введением в возможности и закономерности мира природы, но, наверное, стала введением в мир ученых, который меня глубоко заворожил. Потому что именно тогда я осознал, что к науке обращается определенный тип ума, и это, решил я, тот тип ума, который вызывает у меня восхищение.

Я уже упоминал витую лестницу, что возвышалась в центре нашего дома. Она была неуместно роскошной для такого архитектурно скромного обиталища и мне всегда казалась своего рода гостьей, которой суждено когда-нибудь вернуться в свое истинное славное состояние и снова соединять два этажа в особняке на Пятой авеню. Эту роскошь установил предыдущий владелец дома (молодой архитектор, выпускник Колумбии, не сумевший полностью справиться с унижением после отъезда из Нью-Йорка и возвращения к семейному наделу в Линдоне), и хотя конструкция была надежной, а дерево прочным, лестница пришла в упадок за те пятьдесят лет, которые была вынуждена провести в нашем семействе. Отец часто и нерешительно говорил, что ее надо бы снести и заменить чем-нибудь попроще, но так и не заменил, и когда он умер, а я вернулся на ферму, лестница практически разрушилась, и нам с Оуэном приходилось пользоваться стремянкой, чтобы добраться до наших прежних спален на втором этаже.

Впрочем, в 1935 году лестница хоть и не была особенно хороша, но, по крайней мере, исправно функционировала и уж для моих целей вполне подходила. Я решил начать свой проект с верхнего пролета и постепенно спускаться вниз. Ковер с лестницы убрали уже сколько-то лет назад, а ступени топорщились щепками и пылью, так что на каждую из них надо было наложить несколько слоев краски, чтобы замаскировать древесину. Я спустился по двадцати ступеням, покрасив верх, низ и стороны каждой из них в разные цвета. Через несколько часов краска высохла, и я снова начал с верхней площадки. Продвигаясь вниз, я написал на передней и верхней части каждой ступени имя ученого. Когда я закончил, лестница переливалась красками и словами: Кюри сверху, Галилей под ней, Эйнштейн под ним, Грегор Мендель, Джеймс Клерк Максвелл, Марчелло Мальпиги, Карл Линней, Николай Коперник и так далее. Имена я перечислял без всякого порядка, как они мне вспоминались. Но я еще не успел закончить работу, как появился Оуэн и начал возмущаться, что я его не позвал. Услышав нашу ссору, с улицы пришли отец и Лестер и уставились на лестницу в долгом молчании (на это время даже мы с Оуэном затаили дыхание), после чего Лестер заорал, что нас надо отколотить, и чем сильнее, тем лучше. А потом, неожиданно, отец засмеялся.

Все трое – Оуэн, Лестер и я – замерли, замолкли. До того дня мы с Оуэном никогда не слышали, чтобы наш отец смеялся. Это был неприметный смех,

одышливый и ржавый, на удивление лишенный энтузиазма, или веселья, или энергии. Смех продолжался не дольше нескольких секунд, а потом отец завершил этот нехарактерный эмоциональный всплеск словами: «Видишь, Лестер, теперь я не могу разобрать лестницу – мальчишки ее взяли на себя».

Лестер нахмурился, расстроившись, что нас с Оуэном не наказали как следует (он вообще был невысокого мнения о родительских умениях отца), и я тоже разозлился, хотя и по другой причине. Мое возвышенное приношение в честь научного ума отец каким-то образом перехватил, чтобы в очередной раз оправдать собственную праздность! Но тем не менее лестница – которую отец оставил нетронутой не из уважения к моей работе но, как я сказал, от лени – оказалась гораздо более важной, чем мы могли тогда себе представить.

Я уже упоминал, что мы с Оуэном вернулись в дом после смерти отца. За последний год своей жизни отец запустил хозяйство до предела, что неудивительно, и дом превратился в какой-то сарай, где в замызганных кухонных ящиках орудовали мелкие грызуны и одичавшие, заброшенные кошки. Когда мы вернулись домой в 1946 году (мы уехали учиться четырем годами раньше и почти осуществили намерение никогда больше не возвращаться в Индиану), дом стоял нечищенный не меньше четырех лет, и обстановка в нем была без преувеличения катастрофическая: растрескавшийся паркет, проржавевшие петли, которые скрипели так надрывно, что мы старались вообще не открывать двери, мебель, выплевывавшая гигантские облака вулканической пыли, когда на нее садились. Помойка расползлась по всем комнатам – обрывки бумаги, смятые коробки и бутылки с трещинами, разные заброшенные приспособления. Отец, по всей видимости, не бывал наверху уже давно, потому что, когда мы с Оуэном в конце концов нашли стремянку в подвале, она оказалась ржавой и неподатливой после, надо полагать, нескольких лет забвения. (Наверху поджидала катастрофа таких масштабов, что, вспоминая о ней, я и сегодня испытываю усталость. Мы обнаружили семейство летучих мышей, угнездившихся в балках над кроватью Оуэна, целые династии обычных мышей, сгустки пыли величиной с человеческие головы, в которых попадались клочья неизвестно чьих волос.) Но лестница, покрытая слоями мерцающей паутины, лестница, чьи простые старомодные краски потускнели от возраста и слоев грязи, привела нас в замешательство.

Лестница была массивная, и ее обрушение означало, что моему отцу для жизни оставалось лишь небольшое пространство – меньше, наверное, двухсот квадратных футов. Она разделила гостиную пополам, и войти на кухню можно

было, только выйдя на улицу и обойдя дом по направлению к кухонной двери. Летом это было неудобно, не более того, но зимой пронизывающий ветер и снегопад делали такой маршрут тяжелым даже для человека молодого. В узкой комнате отца не было никакой кустарной постели, а обнаружили его лежащим навзничь в траве в нескольких ярдах от дома в начале марта, поэтому мы заключили, что он пытался добраться до кухни – отчаянно скудной припасами, несколько банок с помидорами и банка грибного супа, вот и все, – когда с ним случился сердечный приступ. (Позже мы обнаружили крошечную жалкую постель, сооруженную из каких-то расползающихся лоскутных одеял и старой диванной подушки под маленьким навесом, который складывался из внешней стены дома и летней террасы, прилегающей к гостиной.) Так что не будет слишком большим преувеличением сказать, что эта лестница убила моего отца, хотя в конечном счете он сам себя убил собственной ленью. Даже его самоубийство было своеобразным актом безволия.

Плачевная кончина отца вызывала у меня одновременно жалость и раздражение. Что можно сказать о человеке, который не заботится о своем доме и дом его в конце концов уничтожает? На самом деле еще больше я скорбел по своей лестнице, хотя это была чисто ностальгическая реакция. Взрослея, я чувствовал, что меня все больше раздражает ребяческая идея и ребяческое исполнение, и хотя я не раз обещал перекрасить лестницу, до этого дело так и не дошло. Должно быть, какие-то отцовские струны.

Мы с Оуэном оба не придавали большого значения похоронам, но из-за смутного чувства вины, отчасти вызванного унижительной смертью отца, а отчасти тем, что нас не было на похоронах матери, мы отыскивали небольшую церковь и уговорили местного пастора, чье имя я уже не вспомню (преподобный Каннингем давно умер), провести церемонию.

Скорбеть о смерти отца собралось человек двенадцать. Несколько лет назад Лестер Дрю перенес сильный удар, и племянница поместила его в лечебницу, так что в церкви были только любопытные горожане, с которыми мы по большей части не были знакомы, и кое-кто из бывших работников отца, в основном фермеры и издольщики, которых мы помнили смутно. Я думаю, некоторые просто пришли посмотреть на похороны богатого человека[10 - Хотя сделать такой вывод после бесславной смерти отца было непросто, он скопил немалое состояние. Конкретная сумма так и не была раскрыта, но биографы Нортон считают, что ее хватило на беспрепятственную покупку дома в Бетесде,

воспитание и образование детей. Нортон, наряду с Оуэном, должен был также унаследовать имущество Сибил.]. Должно быть, вся церемония их жестоко разочаровала – убогая церковь, сбивчивая и туманная проповедь, невыразительная гримаса на моем лице и на лице Оуэна, малолюдность, отсутствие друзей и родных. Если так погребают одного из самых богатых людей города, думали, должно быть, они, какая же унылая церемония (да и будет ли она?) ожидает их самих? Будь мы менее молоды и бессердечны, мы бы организовали более впечатляющие и торжественные похороны, просто чтобы их обнадежить. Но в те времена у нас не водилось привычки смягчать неуверенность других.

После пунша и печенья в доме пастора (нам показалось неуместным приглашать скорбящих на место смерти, где длинная трава, на которой лежало распластанное тело отца, все еще была прижата страшно-опознаваемым очертанием), пожав руки примерно дюжине присутствующих, мы поблагодарили хозяина за помощь.

– Это честь для меня, – торжественно произнес пастор – непримечательно красивый мужчина с печальными глазами, бросавший сладострастные взгляды на Оуэна, когда ему казалось, что Оуэн этого не заметит. Он был лишь немного старше нас, но у него уже завелись усталого вида жена и двое визгливых белокурых сыновей. – Бедные мальчики, вы теперь одни друг у друга остались.

(Я на мгновение задумался, жалеет ли он нас только оттого, что мы остались одни, или оттого, что остались в такой дурной компании; было очевидно, что он не питал к нам особой приязни.) Мне он сказал:

– Пусть тебя всегда хранит Бог.

А Оуэну сказал:

– Всегда береги своего брата. Ты ему сторож.

– Почему это? – спросил Оуэн. В тот момент он очень интересовался Истиной и Справедливостью и уже начал утомительно увлекаться марксизмом; он всегда был крайне впечатлителен. – Я буду относиться к брату как к любому из своих братьев, не лучше и не хуже, – важно произнес он, и пастор отошел, вздыхая и покачивая головой.

Написав это, я понял, как скучаю по Оуэну. Я сам удивлен, что вижу такие слова на бумаге[11 - Я удивился, прочитав это признание. Очень удивился, по причинам, которые станут ясны читателю позже. Могу только сказать, что больше всего Нортон всегда опасался быть покинутым – он боялся, что люди, которых он любит, которым доверяет, в один прекрасный день окажутся с ним по разные стороны баррикад. (К сожалению, это опасение оказалось провидческим.) Но я уже отметил, что к его нынешнему положению привело не только предательство его детей, но и предательство Оуэна. Интересно, что я узнал о существовании Оуэна только через четыре года после того, как познакомился с Нртоном. Когда я спросил его об этом много лет спустя, он лишь усмехнулся и заметил, что они в тот момент, должно быть, из-за чего-то поссорились. Подобные длительные периоды молчания и частые мелкие стычки были характерны для отношений Нортонa с Оуэном, который, как он отмечает, был равен ему по глубине и широте знания и мнений (хотя, разумеется, не того же самого знания и иных мнений). Однако Оуэн отлично оттенял Нортонa – возможно, это единственный человек, который был таким же блестящим, эксцентричным и страстным. Некогда я испытывал к нему очень теплые чувства.], но я бы солгал, если бы не признался в этом. Несмотря на многочисленные жалобы и неприятности, я осознаю (и не впервые), что мое детство при всей его скуке было, безусловно, гораздо проще, чем моя нынешняя жизнь. Так, наверное, многие вспоминают свое детство. Но в те времена, как мне кажется, я был знаком с состоянием, близко похожим на удовлетворение. Я не выглядел как-нибудь причудливо, я был достойно развит физически, я был состоятелен, но не сказочно богат, я был умен, у меня были свои интересы, я был сильнее и быстрее Оуэна. Одноклассники меня не трогали, не били, не дразнили, друзья или что-нибудь в этом роде мне никогда не надобились – в конце концов, у меня был Оуэн. Сейчас я живу такой жизнью, в которой из своей безвыходной штаб-квартиры вынужден направлять значительную часть собственных сбережений адвокатам. Я ожирел, я больше не сильнее и не быстрее Оуэна, и даже будь у меня какие-нибудь увлечения, я бы не смог им предаваться. Я живу странной жизнью, в которой у меня никого нет. Моих детей больше нет, коллег больше нет; все, кто был мне важен, меня оставили.

Даже Оуэн. Может быть, следует сказать – особенно Оуэн. Наши отношения, конечно, не были ни простыми, ни устойчивыми, но в какой-то момент мы с Оуэном были очень близки, и даже когда не были, даже когда он переживал очередной этап своего юношеского энтузиазма, присваивая и отбрасывая идеалы и философские концепции, как иные юноши поступают с девушками, он оставался забавным, остроумным, мыслящим человеком. Он был моим посланцем в

том мире, который располагался за пределами моего собственного мира. Это не значит, что романтика меня вообще не трогала. Я помню, как в молодости однажды сказал Оуэну, что ему следует брать пример с меня. Посмотри на меня, сказал я ему (он закатил глаза), я буду ученым. Это все, чего я хочу. Ты разбрасываешься, сказал я. Я предупредил, что без должной собранности он превратится в дилетанта. Но сейчас я почти восхищаюсь нерешительностью Оуэна, как будто, отталкиваясь от моей сосредоточенности, он стремился оставаться максимально разносторонним. Тогда мне, конечно, не хватало терпения, но теперь я с нежностью вспоминаю обидчивость брата, его горячий идеализм, его пламенные страсти. Я помню Оуэна в те времена как человека живого, неутомимого, интеллектуально гибкого – каким я сам не был. Из-за разницы взглядов мы отчаянно и яростно соперничали друг с другом, и все равно бывали времена, когда мы друг с другом соглашались, и тогда мы могли переубедить кого угодно в чем угодно, сокрушить их своим жаром и праведностью. Что ни говори, страсти у нас были соразмерные, пусть и направленные на разные объекты.

Именно с Оуэном я делил свое самое раннее и самое страстное устремление – уехать, вырваться. Я не помню, чтобы когда-нибудь это желание было конкретно сформулировано, но помню, что с самых ранних лет ощущал: жизнь – это не Индиана, уж конечно не Линдон и, может быть, даже не Америка. Жизнь – где-то еще, и она пугающая, гигантская, холмистая, неудобная. Мне кажется, Оуэн тоже это знал, как некоторые дети знают, что хотят остаться поближе к дому, и эта общая решимость – что место, где наш путь начался, не будет местом, где он продолжится и где закончится, – в большей степени, чем интересы или предпочтения, нас и объединяла, и помогала выдержать ритуалы детства до той поры, когда мы могли оставить их в прошлом и по-настоящему вступить на жизненный путь.

Занятно, что примерно два года после похорон отца оказались самым счастливым, самым гармоничным периодом наших отношений. В эти годы мы были очень близки, и на протяжении короткого, дерзкого, медового отрезка времени я усердно писал ему каждую неделю, чего в студенческие годы мы вовсе не делали. Поздней весной 1946 года мы вместе оправились в отпуск в Италию. Тогдашняя фотокарточка изображает нас, готовых к погрузке на корабль «Аркадия» в Нью-Йорке. На нас обоих парусиновые костюмы и котелки. Это была наша первая поездка в Европу, более того, первый совместный отпуск и, к сожалению, последний, хотя тогда мы не могли этого знать, и я помню, что, вернувшись три месяца спустя, мы пообещали друг другу отправляться в такое путешествие каждый год, в места все более далекие.

Из той поездки мне памятни немногие детали – я плохо помню, какие картины мы видели, какие блюда пробовали, о чем говорили, какими развалинами восхищались, даже где останавливались, – но со странной, неприятной ясностью до сих пор вспоминаю незнакомое и неопределимое чувство, которое я начал испытывать примерно на середине пути, стоило мне взглянуть на Оуэна. Я помню, что в такие мгновения что-то прижималось к моей груди, большое и требовательное, но не мешающее, не болезненное. После нескольких таких случаев я решил, что это, за неимением лучшего слова, любовь. Конечно, я ему ничего не сказал (таких разговоров мы не вели), но очень отчетливо помню, что я смотрел на него как-то вечером, стоя на корабельной палубе, смотрел на его острый нос, заканчивавшийся сгустком неопределенной формы (мой нос), слушал, как темные волны плещут о борт корабля, и чувства почти переполняли меня. Когда Оуэн обратился ко мне, я не смог ответить и притворился нездоровым, чтобы пойти лечь и в каюте, в одиночестве, лежать и думать об этом новом открытии.

Это ощущение, конечно, не продержалось долго. Оно возникало в ходе нашего путешествия и потом на протяжении разных лет. И хотя оно никогда не было таким сильным, как в тот день на воде, я постепенно принял эту знакомую боль, а потом стал мечтать о ней, даже зная, что, испытывая ее, я не способен выполнять, а уж тем более обдумывать что-то иное.

Часть II

Мыши

1

О кончив колледж, осенью 1946 года я поступил в медицинскую школу[12 - Гамильтон-колледж, диплом с особым отличием, 1946; Гарвардская медицинская школа, диплом с отличием, 1950. И Нортон, и Оуэн получили армейскую отсрочку в 1944 году. Нортон – из-за плоскостопия и хронического ишиаса, а Оуэн – из-за астмы и сильнейшего астигматизма.]. Про нее мне, в общем, нечего сказать; факультет был унылый, однокашники – невыразительные, и меня это совсем не удивило. На медицинский факультет я направился потому, что в те времена так

приходилось поступать всем, кто хотя бы в общих чертах интересовался биологическими свойствами человеческого организма. Будь я студентом сегодня, я бы, наверное, предпочел аспирантуру в области вирусологии, микробиологии или чего-нибудь в подобном роде. Дело не в том, что медицинский факультет сам по себе неинтересен, и даже не в том, что он не развивает ум; дело в том, что тамошние студенты чаще всего самодовольны и сентиментальны, больше заинтересованы в романтическом героизме врачевания, в котором погрязла профессия, чем в проблеме научного поиска.

Пятьдесят лет назад это, пожалуй, проявлялось даже в большей степени, чем сейчас. Моих однокашников – по крайней мере, тех, с кем я имел дело на протяжении четырех лет, – можно было легко разделить на две категории. Члены первой категории, более безобидные, были туповаты, послушны и зубрежке предавались с радостью. Члены второй, более неприятные, были цепкие и мечтательные, озабоченные собственной будущей важностью. Но всех отличали амбиции, страсть к соревнованию и жажда славы.

Я не был особо выдающимся студентом. Хотя интеллектуальным любопытством и творческим подходом я отличался, наверное, в большей степени, чем почти все остальные ученики в моей группе или даже на всем факультете, более прилежных студентов водилось очень, очень много: они ходили на каждое занятие, вели конспекты, читали учебники по ночам. Но меня занимало иное. В то время я со страстью собирал жуков – эта привычка и интерес остались у меня с детства; естественно, возможность найти необычных жуков в Бостоне была несколько ограничена, но в весенние месяцы я иногда прогуливал несколько дней подряд, уезжая на поезде в Коннектикут, где Оуэн изучал американскую литературу в аспирантуре Йельского университета. Я оставлял у него сумку, садился на другой, маленький и сонный поезд, уходивший в сельскую местность, где я и проводил целый день в каком-нибудь поле с сачком, блокнотом и стеклянной банкой, в которой лежал большой кусок смоченной формальдегидом ваты. Когда небо окрашивалось в оранжевый цвет, я ловил машину на Нью-Хейвен, где проводил вечер у Оуэна, ел приготовленную им еду, и пытался – без особого успеха – вовлечь его в разговор. Оуэн с годами становился все молчаливее (за что я был ему, надо сказать, признателен, потому что его рассуждения о собственных занятиях, посвященных Уолту Уитмену и воображению по-американски, изрядно отдавали интеллектуальной неразборчивостью), и, глядя, как он нарезает свой омлет на маленькие заботливые кусочки, я старался гнать от себя мысль о его сходстве с нашим флегматичным, простоватым отцом.

Преподаватели, конечно, без восторга относились к моим многочисленным пропускам, но поскольку контрольные и письменные работы я всегда сдавал успешно, наказывать меня им было нелегко, разве что прочитать нотацию о том, как отсутствие дисциплины непременно обернется заурядностью моей профессиональной жизни. Я не сомневался в их серьезности и искренности, но и беспокоиться о своем будущем себе не позволял; даже тогда я понимал, что мне суждены такие приключения, которым безупречная посещаемость никак и ничем не поможет.

Впрочем, не хочу идеализировать свое по большей части утомительное и незрелое неуважение к профессорам и университету. Сегодня, оглядываясь назад с высоты своей нынешней карьеры, было бы, пожалуй, совсем нетрудно сказать, что я знал, как в конечном итоге все обернется в мою пользу, что я был искренне лишен тщеславия. Но если говорить начистоту, наверное, следует признать и то, что даже тогда я стремился к определенного рода величию, которое казалось одновременно возможным и недоступным, к едва очерченному ореолу на периферии поля зрения, что в то время мне было проще притворяться перед всеми, включая себя самого, будто блестящее будущее меня не интересует, лишь бы не думать, что время, проведенное на медицинском факультете, и мои тамошние успехи и неудачи предскажут остальную мою жизнь, определят, сложится ли этот мерцающий образ во что-то более ясное или нет.

Но для меня все по-настоящему изменилось на третьем году медицинского факультета – вернее сказать, я все по-настоящему изменил. Именно в этом году Грегори Смайт пригласил меня работать в своей лаборатории. Сейчас вы поймете, почему это событие можно назвать удивительным, – и действительно, на протяжении многих лет меня продолжали одолевать вопросами о моей работе у него[13 - Известный профессор может выбрать одного или максимум двух своих самых многообещающих студентов, в том числе студентов-медиков, чтобы они работали в его лаборатории от одного до четырех семестров. Этих студентов, как правило, выбирают на основании их учебы, оценок за контрольные работы, целеустремленности и аккуратности.].

Я бы солгал, сказав, что не был поначалу польщен. Сегодня упоминание имени Грегори Смайта (если его вообще удастся припомнить) вызывает насмешки, самоуверенную, самодовольную ухмылку, всегда обрамленную и облегчением, и страхом, – без сомнения, через поколение-другое имена многих самых

авторитетных нынешних ученых будут вызывать такую же реакцию. Но когда я учился, Смайт считался выдающимся мыслителем, провидцем, образцовым врачом и ученым, каким, по общему представлению, мечтал стать любой[14 - Трудно переоценить значение и роль Грегори Смайта в жизни научного сообщества 1940–1950-х годов. Пока его теории не вышли из моды, Смайт оставался одним из редких ученых, которые добились массового признания и известности; журнал «Тайм» 18 апреля 1949 года даже вышел с его портретом на обложке в сопровождении такого заголовка: «Грегори Смайт, Гарвардский университет: «У нашего поколения есть возможность победить рак».]

К тому же Смайт был довольно необычной фигурой в университетской среде и в научном сообществе. В частности, направление его изысканий в то время многие признавали одним из самых интересных в медицине. Очень легко сегодня смеяться над ошибочными представлениями и теориями, которые когда-то считались революционными, но нельзя отрицать, что 1940-е были в своем роде эпохой великого расширения возможностей науки. Какими бы неверными (сказать это мягче невозможно) ни оказались в конечном счете многие из теорий Смайта и его коллег, это поколение отличалось удивительной любознательностью, и их жажда – у которой было множество причин, но сомневаться в ее подлинности не приходится – в конце концов помогла основать то, что мы признаем сегодня современной наукой. Без них нам с вами было бы нечего отрицать, нечего развеивать и развенчивать. Иногда, вспоминая труды Смайта, я думаю, что самая важная часть его наследия – это определение того типа вопросов, которые будут занимать научное сообщество следующие полвека, даже если ему самому так и не удалось выдвинуть правильные ответы.

Я слышал о Смайте еще до первой встречи с ним. В середине 1940-х одна из самых популярных медицинских теорий заключалась в вирусной природе рака. Эту теорию выдвинули несколькими десятилетиями раньше, но Смайт ее яростно защищал, проведя значительную часть начала сороковых в попытках доказать, что рак (который, по разумению тогдашней науки, мог вызываться хоть демонами, хоть колдовством) можно не только досконально объяснить, но и успешно вылечить: если удастся выделить вирусы, вызывающие рак, далее, по логике вещей, можно будет разработать вакцину, которая с ними справится, и рак окажется окончательно побежден. Как все наиболее привлекательные теории, эта концепция была вдохновенной, но сдержанной, а также аккуратной, логичной и удовлетворительно правдоподобной. Сверх того, она была доступна для понимания, так что теория Смайта (в прессе ее прозвали «построением Смайта», как будто это пифагоровская теорема или теория эволюции или как будто Смайт – некий аристотелеподобный автор какой-то древней,

полумистической, глубоко аллегоричной философской системы) вскоре обеспечила ему широкую известность (и с неизбежностью – острую зависть) как в академических, так и в широких кругах[15 - Нортон здесь немного увлекается сарказмом. Ряд онкологических заболеваний действительно связан с вирусными инфекциями (особенно папилломавирус человека, а также гепатит В и С); он издевается над убеждением Смайта, что любой рак напрямую связан с вирусными инфекциями.].

Но к нему я вернусь позже, что вполне уместно, потому что со Смайтом я познакомился, только отработав в его лаборатории несколько месяцев. Не удивительно, что с учетом моих оценок, взглядов и общей неподходящести я оставался более или менее пустым местом на протяжении почти всей моей тамошней работы; сослуживцы никогда не вступали со мной в разговор, а задания я выполнял самые заурядные. Я, впрочем, не обижался – такие студенты, как я, видимо, постоянно появлялись и исчезали, маячили, а потом пропадали куда-то еще, оставаясь такими же расходными единицами, как обезьяны, которых нам приходилось кормить, мыши, чьи поилки мы меняли, собаки с испуганными глазами, которых мы кололи, пока они тоже не пропадали куда-то из лаборатории, забирая с собой свои запахи и звуки.

Обычно в лаборатории нас было человек пятнадцать (плюс Смайт, конечно), и хотя я почему-то лелеял романтическую мечту о свободном творческом обмене идеями и теориями (да, я был очень наивен), на самом деле все подчинялось строгой иерархии; хотя среда была замкнутая и контингент узкоспецифический, но формальные и сословные границы внешнего мира здесь соблюдали с рабской покорностью. На вершине находился Смайт, и сказанное им – или то, что передали его непосредственные подчиненные со ссылкой на него, как происходило чаще, – следовало выполнять без всяких вопросов и пререканий. Впрочем, к моменту моего появления Смайт бывал на работе все реже, больше интересуясь, по всей видимости, интервью с «Нью-Йорк таймс» и Эдвардом Р. Мэроу.

Следующими по важности в конторе были два главных ординатора, Уолтер Брассард и Монро Фитч, оба с докторской степенью по медицине, оба (как они не ленились напоминать нам примерно раз в неделю) лично избранные Смайтом для управления его лабораторией. В их обязанности входило наблюдение за экспериментами, написание черновиков смайтовских работ и отслеживание их публикационной судьбы, забота о ежедневных потребностях лаборатории, в том числе о найме аспирантов-медиков и студентов. Они оба меня не любили,

особенно Брассард, но поскольку нанял меня непосредственно Смайт, им приходилось смиряться. Оба они – опять-таки особенно Брассард – были и сами по себе известны; в университете я слышал, как профессора обсуждали их блестящее будущее. Иногда их называли «младотурками»; считалось, что это именно те научные умы, которые унаследуют дело Смайта и доведут его проекты до воплощения. Они редко разговаривали друг с другом и, как я заметил, напряженно соперничали. Каждый презирал другого за посредственное образование (что было странно: они учились вместе от старших классов до медицинского института), за интеллектуальную леность (опять-таки ни один из них не производил впечатления человека, одаренного богатым воображением) и, как постепенно выяснилось, за сиюминутное отношение Смайта к каждому из них.

Ниже Брассарда и Фитча располагались четыре младших ординатора, тоже доктора медицины; их звали Партон, Нессер, Улливер и Кертис. Эти четверо были по-своему даже менее выносимы, чем отобравшие их (с благословения Смайта) Брассард и Фитч. Все они тоже ходили в школу-пансион (но не в ту же, что Брассард и Фитч), все передвигались по лаборатории с некой торжественностью – слегка нахмуренный лоб под волосами, которые они продолжали стричь по-школьному, руки, сцепленные за спиной с претензией на величие, – но, несмотря на серьезность намерений, они не умели скрыть легкие усмешки, проступавшие на лицах, когда им казалось, что никто на них не смотрит, самодовольное прихорашивание, какое охватывает женщин при сближении с зеркальной поверхностью. Меня определили работать с Партоном, который нравился мне больше остальных за гладкое лицо с пухлыми щеками, за неопрятную рубашку («туркам» такие детали казались важными, и они его вечно критиковали) и за то, что он оставлял меня в покое, забывая на целые дни, что я помогаю ему в экспериментах и он, следовательно, должен отслеживать мои движения и, как у них это называлось, ежедневную выдачу результата.

За младшими ординаторами следовали два студента-медика: я и парень по имени Джулиан Тернбулл, большой любимец «турок», никогда не вступавший со мной в разговор, словно сам факт моей неподходящести был болезнью, которую он мог подхватить при малейшем соприкосновении. Он держался в стороне, и меня это вполне устраивало; я знал, что он с моего курса, что он откуда-то из Коннектикута, что в Уэлсли у него есть невеста, но о его мыслях, о том, где скрывается его интеллект, я не знал ничего, потому что об этих вещах он никогда не говорил, как будто по сравнению с его лабораторной жизнью они мало что значат.

Затем следовали два студента, оба, как правило, биологи из колледжа (они менялись так быстро и в любом случае были такие взаимозаменяемые, что никто из нас не пытался запомнить их по именам), оба собирались на медицинский факультет, оба всегда ходили с видом довольно испуганным: для студента работа в лаборатории Смайта была почти что царской почестью, и на их лицах отображались страх и гордость. Глядя на них, я иногда думал, какие обещания они были вынуждены дать, чтобы получить эти должности, какие проверки прошли у своих руководителей, какие обязательства на себя взвалили.

За студентами следовал человек по имени Дин О'Грэди, которого тогдашние остроумцы окрестили Жирным Ирландцем, потому что он был жирный ирландец. Жирный Ирландец был тот персонаж в лаборатории, чья работа у всех на виду и легче всего поддается оценке: пока мы все записывали результаты, ударяли ногтями по пузырькам воздуха в спиртах, брали кровь и фиксировали очередной результат, Жирный Ирландец заботился о животных и делал то, чего не делали мы. Он чистил клетки обезьян и кормил их смесью побуревших бананов и овсянки. Он менял воду мышам и убирал гнойные струпья из собачьих глаз. Его бесстрашие меня впечатляло: он не был ни любителем животных, ни романтиком (один такой раньше работал в лаборатории, как я узнал, и закончилось все плачевно, когда однажды поздно ночью Фитч обнаружил, что он пытается вытащить собак из клеток и запихать в свой фургон), и сама лаборатория, казалось, его тоже особенно не интересовала. У служителей, которые работали с животными, – с этим позже пришлось столкнуться и мне – встречалась порой первобытная ненависть к людям, управлявшим лабораторией. Дело было не в том, что они любили животных (заявки тех, кто признавался в любви к животным, немедленно отправлялись в мусорную корзину), – дело было в том, что они ненавидели науку и людей, занимавшихся наукой, всех этих личностей в белых халатах и то, что им казалось нашим отвратительным высокомерием, хотя что именно они так ненавидели, само наше образование или его применение (первое они считали избыточным, второе эгоистичным), определить было нелегко. Эти люди не были способны на осмысленную умственную работу, и, будучи не в состоянии понять, что мы делаем, и одновременно не желая признать собственную ограниченность, они предпочитали обзывать и ненавидеть нас. (Так ведут себя не только служители, работающие с животными, но и журналисты, и защитники животных, и священники, и политики, и домохозяйки, и художники – одним словом, люди, которые непременно должны свести любую тайну к человеческому высокомерию и злу.)

Но вернемся к Жирному Ирландцу: он приходил и начинал работать каждый день в четыре часа пополудни, и когда мы возвращались наутро, клетки были прибраны, поилки наполнены, и лаборатории особенно отчетливо пахли своим характерным запахом – яичным ароматом чистящих средств и сладковатым духом залежалого кала. Иногда, задерживаясь по вечерам, Жирного Ирландца можно было встретить и кивнуть ему, и он кивал в ответ. Он не старался завести разговор. Если ему задавали прямой вопрос, он отвечал самым прямолинейным способом – не грубо, но и не наваливаясь на собеседника с той болтовней (про погоду, про тяжелую работу, про разные болящие органы), которая из дворников, официантов и прочего служебного люда всегда изливается в бесконечных количествах. Вместо этого разговор происходил так: «Доброе утро, Жирный Ирландец». – «Доброе утро». – «Бассет четыре [собака-бассет в четвертой клетке] вчера вечером сдох». – «Разберусь». И все.

После Жирного Ирландца мы спускаемся на самое дно: лаборанты, Дэвид и Питер, которым не полагалось ни фамилии, ни письменного стола, хотя белые халаты у них были. Они передвигались от пункта к пункту, моя колбы, нарезая бинты, вычищая сгнившую биомассу из пробирок, доставляя кружки пережженного кофе, принося мышей из клеток, относя мышей в клетки. Я пытался не прибегать к их услугам слишком часто: во-первых, быстрее выходило сделать все самому, а во-вторых, они оба были разговорчивые, любили рассказать про своих женщин или про еду, которую собирались съесть на ужин, или про то, как им надоела работа. Они не отличались беспричинной жестокостью к животным, но отличались небрежностью: мышей они сжимали так сильно, что те пищали и дергали в воздухе ножками; они не помнили, в какой клетке сидит какая собака; они опрокидывали бунзеновские горелки и неидеально прибирали образовавшийся беспорядок, так что приходилось до конца дня осторожно обходить собственный стол, пока ночной уборщик не отчищал то, что они упустили.

Лаборатория размещалась на первом этаже здания под названием Чейз-Холл, десятиэтажного, краснокирпичного, уродливого и функционального; несколько лет назад его снесли. Главное помещение, немного больше тысячи квадратных футов, представляло собой длинный прямоугольник с четырьмя окнами, обращенными на зелень снаружи. В южном углу, дальше всего от рева сжигательной установки, которая примыкала к нашей лаборатории, располагался кабинет Смайта – небольшой застекленный квадрат, где стоял стол из капа (идеально и подозрительно пустой), металлический каталожный

шкаф и металлический стеллаж. К восточной стене этой комнаты ниже окон непосредственно примыкали выставленные в ряд металлические столы для каждого из младших и главных ординаторов, для студентов-медиков и биологов. Оставшееся пространство было занято восемью длинными металлическими стойками с раковинами, уставленными бунзеновскими горелками и колбами. Полы покрывал линолеум, стены были выкрашены в бледно-масляный цвет, от которого мне всегда ужасно хотелось хлеба или картошки – чего-нибудь крахмального и мучнистого.

За главным помещением по всей длине тянулись две лаборатории с животными. В первой, с южной стороны, примерно трехсотфутовой, располагались мыши; в ней не было окон, и клетки, поднимавшиеся футов до семи, стояли вдоль трех стен, выкрашенных в яркий, загустевший, обгорелый оранжевый цвет. Мышиная лаборатория, как всякая лаборатория с животными, пахла промокшими газетами, пометом и плесневым, болотным запахом влажной шерсти. Каждую ночь полы дезинфицировали, но природные запахи комнаты от этого только усиливались – они были так неотступны, что, казалось, запеклись в самих стенах. К мышиной лаборатории примыкала собачья, почти вдвое больше, но с теми же запахами, с теми же ржавого цвета стенами, с теми же проволочными клетками, хотя здесь они поднимались до самого потолка. Клеток было тридцать шесть или около того, и все они были маленькие, около двух квадратных футов, так что собаки (обычно почему-то овчарки) не могли стоять и проводили время на боку или сидя с расставленными передними лапами, что придавало им какой-то пьяный и непристойный вид. Еще десять-двенадцать клеток повыше предназначались для обезьян, которые у нас бывали регулярно, но все-таки не так часто и не в таких количествах, чтобы заслужить собственную лабораторию. Про эти лаборатории мне больше всего помнится их безмолвие – лихорадочное, пронзительное попискивание мышей и безнадежное, тягучее завывание собак раздавалось, только когда их вынимали из клеток или помещали обратно. Остальное время они хранили молчание, смотрели на свои лапы и ждали. Только обезьяны жаловались, болтали и причитали целыми днями, покрикивая в пустоту. Это в них раздражало – как и ужасный беспорядок, который они разводили, как и резкие запахи, хотя, конечно, это были более ценные животные для работы.

Большую часть времени я проводил с мышами. В одном из экспериментов Партонна – точные параметры остались мне неизвестны, потому что, как ни странно, хотя мне многое доверяли, я, видимо, не считался достаточно важным персонажем, чтобы знать, чем он занимается большую часть дня, – мышей следовало заражать разными вирусами в надежде, что какой-нибудь из них

вызовет рак. Начиналось все, например, с дюжины мышей, по одной в каждой пронумерованной клетке. Потом надо было взять вирус и с физраствором ввести его в каждую мышь. А потом – ждать. Каждый день приходилось взвешивать, обмерять и осматривать каждую из них. Не кажутся ли они апатичными? Как они едят и пьют? Не вырастают ли у них какие-нибудь странные опухоли (на это можно было только надеяться, но за время всех проведенных мною экспериментов этого так и не произошло)? Я записывал результаты в блокнот, который мог потом затребовать, но ни разу не затребовал Партон. Скука подталкивала меня к затейливости: «№ 12. Белая мышь, – писал я (они все были белые), – сложение подагрическое. Нос и лапы: розово-розовые по сравнению со вчерашним днем (гвоздично-розовые). Личностные свойства: тупая». (Они все были тупые. Это же мыши. Они проводили дни за мышинными занятиями.) В определенный момент, примерно через три месяца, их надо было убить, вскрыть и начать все заново с новой группой.

Убивать мышей мне, пожалуй, нравилось. Сделать это можно было на удивление немногими способами: усыплять их выходило слишком долго и дорого, топить – неряшливо и к тому же скучно. (Да и в любом случае оба метода испортили бы ткани, нужные нам для изучения.) Убивать их научил меня Улливер. Нужно было взять мышь за хвост и помахать ею круговым движением, как лассо, чтобы ее замутило и она стала недужно поматывать головой. Потом ее надо было положить на стол, одной рукой взяться за голову позади ушей, а другой потянуть за хвост. Тихий щелчок – и шея ломалась. Иногда мы с Джулианом Тернбуллом стояли у разных концов длинного стола посредине мышинной лаборатории и оба крутили по четыре-пять мышей в каждой руке, а потом такими же партиями убивали. Это была удовлетворительная задача, небольшое, но реальное достижение по ходу дня, который, как и многие другие дни, казался лишенным структуры, движения, смысла.

Потом мышей относили в главную лабораторию и раскладывали на одном из столов животами вверх. Следующий шаг – у каждой вырезать селезенку, крошечную, аппетитного вида и насыщенно-мясного коричневого цвета, размером с маленькое арбузное семечко, и разместить в отдельной чашке Петри с небольшим количеством физраствора. Рядом лежала упругая стопка тонкой проволочной сетки, порезанной на квадратные куски примерно в дюйм шириной, и такой кусок надлежало простерилизовать в пламени, а потом растереть через него селезенку в другую чашку Петри, чтобы получить суспензию отдельных клеток. Селезенка, разумеется, мягкая и мясистая, как фуа-гра, поэтому надо было очень осторожно, едва касаясь, проводить ею по сетке; стоило приложить чуть больше силы, как орган размазывался у вас по пальцам, покрывая их

клейким и темным слоем, как помадка. Делать это можно было несколько раз или до того момента, как орган разжижился; тогда некоторую часть соуса следовало пипеткой перенести в пробирку, изучить под микроскопом и записать, сколько там клеток на миллилитр.

Смысл этих экспериментов, как я уже отметил, заключался не только в том, чтобы доказать, что рак вызывается вирусами (прошу заметить, я не сказал «проверить, вызывается ли рак вирусами»; Смайт, в результате ли собственной гордыни или поддавшись безнадежной ошибке и поверив тому, что научный журналист – это всегда оксюморон – про него написал, кажется, убедил себя, что его теория непотопляема. Его лаборатория не занималась подтверждением или опровержением; Фитч, Брассард и остальные интересовались только деталями предположения, а не его истинностью), но и в том, чтобы выяснить, как вывести клеточную культуру. Если можно доказать что, скажем, рак X вызывается вирусом Y, тогда все, что нужно, – это создать вакцину, которая уничтожит рак. (Я упрощаю, но ненамного: так действительно тогда думали, и не только в медицине, но во всех науках: делаешь бомбу, сбрасываешь ее на неприятных людей – неприятных людей больше нет.)

Один эксперимент, который мне довелось повторять, касался почек, где патологии легко определить – во всяком случае, легче, чем в селезенке. Надо было взять мышиную почку (более волокнистый орган, чем селезенка) и в пробирке разделить ее на мелкие кусочки. Потом следовало взять эти кусочки и через слои все более мелких решеток попытаться опять-таки довести дело до одноклеточного слоя, который было легко опознать по его вязкости. После этого ткань нужно было растереть при помощи физраствора и фетальной телячьей сыворотки – что, естественно, способствует росту, – а потом поместить ее в стерильную емкость на ровной поверхности и хранить при температуре 37 градусов. На весу клетки приклеятся к емкости изнутри, сформировавшись в плоские, звездчатые области. Получив процветающий клеточный монослой, надо было ввести вирус и заразить клетки. Через несколько дней всю серию приходилось прогнать через центрифугу и собрать супернатант – неклеточную часть – в качестве вакцины.

Так, по крайней мере, считалось. И я должен признаться, что в то время этот метод казался разумным и логичным. Может быть, сегодня он кажется немного чересчур разумным, немного чересчур логичным, но он был правдоподобнее, чем многие ведущие теории той эпохи, хотя, как я вскоре узнал, самое правдоподобное не всегда оказывается самым правильным или требующим

наиболее тщательного изучения. Чаще ты снова и снова возвращаешься к безумной теории, на первый взгляд совершенно невозможной, но непропорциональная доля внимания уделяется ей просто потому, что стоящая за ней свежесть мысли тебя будоражит.

Мне было двадцать четыре года; я заражал собак. Я брал шприцы с разными вирусами и вводил их собакам в почки. В те времена идея трансплантации органов пользовалась большой популярностью, и поэтому скоро я уже делал настоящие операции, хотя и на собаках, и мог делать их без присмотра, прямо в собачьей лаборатории (иногда заходил Партон, бросал на меня скорбный взгляд, словно понятия не имел, кто я такой, и не смел спросить, а потом тихо пятился обратно, не сказав мне ни слова). Я вскрывал собаку, перекрывал артерию, ведущую к ее почке, и снова зашивал. Через несколько дней, когда собака выла и постанывала от почечной недостаточности, а ее моча становилась вязкой и отравленной на вид и с трудом выходила жирными, липкими каплями, я снова усыплял ее, убирал мертвую почку (приобретшую синюшный, блестящий цвет гнилого мяса) и пытался пересадить ей почку, которую я заразил у другой собаки. Собаку-донора я отправлял в кремационную печь. Собака с пересаженным органом тоже вскоре сдыхала, от зараженной ли почки или от моих посредственных хирургических навыков – я так никогда точно и не знал. Я наблюдал за ней, заносил заметки об ухудшении состояния в блокнот и, когда она умирала, вырезал нужные органы, сохранял их для последующего анализа, а труп тоже сжигал.

Так проходил день за днем. Я понимаю, что этот рассказ создает впечатление, будто мне было скучно, возможно, в нем даже звучат ноты драматического фатализма, но в те времена все это казалось довольно интересным из-за самой работы – потому что иногда я действительно чувствовал, как это и бывает у сотрудников хорошей лаборатории с харизматичным руководителем, что я не меньше, чем остальные, а может, и больше, стою на самой грани открытия чего-то небольшого, но важного, чего-то, что изменит науку навсегда, – а еще потому, что мои лабораторные дни и жизнь окружающих людей указывали мне, что это не та жизнь, которую я хотел бы выбрать. Забавное это дело, работа на кого-то в лаборатории: тебя выбирают, потому что ты лучший в группе или самый многообещающий в своей области или у тебя интересные идеи, и ты оказываешься в помещении, где полно таких же, как ты. В некоторых коллегах ты видишь собственное прошлое, того студента, каким ты был, а в других – собственное будущее или, по крайней мере, модель своего будущего, хотя и

предполагаешь, что сам окажешься лучше, умнее, одареннее их.

Но что это вообще значит – быть одаренным или талантливym в лаборатории? Ведь твоя работа там не по-настоящему твоя; тебя выбирают за интеллектуальные способности, а потом просят в той или иной мере забросить свои мысли и начать думать чужие. Некоторым это сделать проще, именно они и остаются. Так что, входя в некое братство, ты отказываешься от независимости. Но амбиции сложно полностью подавить, и они перераспределяются: ты работаешь не в одиночестве, а в одном помещении с другими, но в ходе этой работы каждый день надеешься, что именно ты совершишь ключевое открытие, именно ты найдешь ответ, именно ты его триумфально продемонстрируешь своему директору, а он окажется достаточно благородным и уверенным в собственных интеллектуальных способностях, чтобы признать твои достижения. Это – твоя надежда, и она способна мотивировать и поддерживать людей куда более заслуженных, чем я. Но ответ на такие запросы дается лишь очень немногим, и эти люди – те, кому рано или поздно достаются собственные лаборатории, собственные патентованные клеточные линии, собственные статьи, – и есть счастливчики. Впрочем, они все до единого терпеливы, а я к концу своего семестра в лаборатории Смайта знал, что никогда не смогу быть ни таким терпеливым, ни таким уступчивым.

Эта уверенность отчасти основывалась на дискомфорте, который вызывала у меня обстановка самой лаборатории. Лаборатории в те времена были не такими, как сегодня. Не то чтобы я сильно интересовался жизнью коллег, тем, что их занимает в неслужебное время, но на работе упор делался на консерватизм, на приличия, и мне это казалось избыточным и удручающим. В те времена наука считала себя царством джентльменов. Это была, в конце концов, эпоха Лайнуса Полинга и Дж. Роберта Оппенгеймера, которые оба были, конечно, выдающиеся деятели, но при этом умели одеваться определенным образом, выступать на банкетах, заводить романтические связи. Гениальность не оправдывала социальную неприспособленность так, как это происходит сейчас, когда отсутствие базовых социальных навыков, неспособность пристойно одеться или прокормиться великодушно расценивается как свидетельство интеллектуальной чистоты и преданности интеллектуальной жизни.

Но так было не всегда. В те времена было сложно не принимать в расчет внеслужебную деятельность и интересы коллег: от человека ожидалось, что его собственная жизнь тоже будет пристойной. Про «турок» говорили с одобрением не только из-за их хорошего образования, не только потому, что их быстрый ум,

дисциплина и вдумчивость признавались всеми, но и потому, что они такие представительные. У каждого была жена, окончившая Рэдклифф, оба были родом из известных семей с Восточного побережья, оба были вполне хороши собой и прилично одевались. Они были очень убежденные. Они не сомневались, что делают серьезное и важное дело, – я тоже, но они относились к тем людям, которые включают чувство юмора только в уместной обстановке (на вечеринках, за ужином и т. д.), причем в очень ограниченном диапазоне. За исключением поездок в Европу с родителями (и, наверное, с армией во время войны, что вряд ли можно считать), ни один из них не путешествовал и не хотел путешествовать. Друзья у них были такие же, как они сами, и на работу они нанимали таких же людей; странные скандинавские фамилии Улливера и Нессера уравнивались их прозвищами, Прыг и Скок, и жизнь их протягивалась от лаборатории до их домов в Кеймбридже или Ньютоне и назад. Возможно, люди вроде Жирного Ирландца никогда не задумываются о жизни, в которой есть что-то кроме опустошения мышинных клеток и удаления мочи с пола лаборатории, но «турки» были по-своему столь же ограничены, столь же неизобретательны: они воображали, что сделают важный вклад в спасение человечества, и пожалуй, это безупречная цель, но сам процесс никогда не казался им таким же привлекательным, как результат, как воображаемая честь присоединить свою фамилию к чему-то, что они мечтали изобрести, решить, починить. Я занялся наукой ради приключений, а они считали, что приключения следует претерпевать, а не искать на пути к неизбежному величию.

2

Я работал в лаборатории уже полгода, когда у меня впервые появилась возможность познакомиться со Смайтом. Я видел его и раньше, конечно, но мельком: в газетах, в журналах, в те моменты, когда он забежал к нам поговорить с Брассардом или Фитчем, схватить лист бумаги или журнал со своего подозрительно прибранного стола, чтобы потом снова отправиться в мир за пределами своей лаборатории. Некоторые преподаватели время от времени ревниво спрашивали меня про него: что он поручает мне в лаборатории? А что он сам делает? Я всегда отвечал правдиво, и получалось достаточно скучно и туманно, чтобы остановить всякие расспросы: я режу мышей; я не знаю. Если бы я имел о нем какое-то мнение, если бы восхищался им и пытался защитить его труды, я бы врал и старался изобразить свою работу более увлекательной.

Тем не менее однажды Брассард остановился у моего рабочего места, пока я размазывал мышинные печени.

– Смайт оставил это для вас, – сказал он и положил конверт возле моего локтя. Вид у Брассарда был недовольный, но у него всегда был недовольный вид. Я стянул перчатки и открыл конверт – обычный конверт обычного размера с напечатанной на нем моей фамилией. Внутри лежал лист папиросной бумаги с письмом – тоже напечатанным, причем очень коряво, я решил, что Смайт делал это сам, – которое приглашало меня на ужин в ближайшую пятницу к половине седьмого. Он подписался черной перьевой ручкой, чернила прокрасили бумагу насквозь и собрались в кляксу. Сейчас трудно точно вспомнить, что я подумал об этом приглашении. Наверное, был польщен – хотя Брассард, каким-то образом догадавшийся о природе письма, не преминул в тот же день сообщить мне, что Смайт регулярно приглашает каждого из студентов-медиков, работающих в его лаборатории, один раз (он подчеркнул это) за время работы, – но, как ни странно, я не помню, чтобы как-то особенно радовался. Беспокоиться я тоже не беспокоился. Я никогда не понимал толком, как мне удалось получить место в лаборатории Смайта, и к тому моменту был совершенно уверен, что в таком месте не задержусь; отсутствие интереса способно мягко снять любую тревожность.

В пятницу я прибыл на ужин к дому Смайта – высокому, узкому особняку на краю кампуса медшколы. Перед крыльцом стоял японский красный клен, совершенно голый (дело было в начале марта), куст падуба с глянцевитыми, узорчатыми листьями и кучка нервных крокусов, выглядывавших из своего дернового нимба. Остальной сад был пуст и представлял собой ковер из незамысловатых щепок. В расположении растений не наблюдалось ни гармонии, ни какого-либо порядка – они просто росли. Внутри дом оказался совершенно такой же: в одном углу прихожей стоял неуместный японский комод из пузырястой, сморщенной камфарной древесины. В другом, столь же неуместно, располагался старомодный английский секретарский стол, узоры его древесины разукрашивали поверхность шелковистыми полосами. Пыльные полы были покрыты старыми восточными коврами, а их бахрома усыпана крошками печенья. На стенах висели глубокие черные рамы с черным фетром внутри, а на них располагались кулоны из тускло-светлого золота, миниатюрные резные изделия из слоновой кости (гном, чьи грубо вырезанные руки схлопывались в радостном жесте; корабль, чьи паруса неубедительно раздувались) и камеи с мечтательными курчавыми девицами, которые глядели в сторону с пустым выражением лица. Вроде бы очень запоминающиеся детали, но при этом в атмосфере жилища крылось что-то туманное и неконкретное – оно выглядело как выставочный зал второразрядного аукционного дома, специализирующегося на распродаже частного имущества. Там не было ничего отражавшего личность

Смайта с его волосами цвета березовой коры, с его морщинистым лицом, напряженной, негнущейся походкой и журнальными статьями. Каждая рама на стенах была покрашена в свой причудливый цвет: красновато-коричневый, морской волны и яркий светло-зеленый, характерный для незрелых плодов. Я ожидал бежевого, коричневого, возможно, какого-нибудь приемлемого синего, ожидал аккуратности и порядка, а не жилища эксцентрика, потому что Смайт эксцентриком не был.

Но при этом все его окружение в тот вечер словно бы утверждало, что он эксцентрик. Ужин, когда его наконец подали, оказался таким же дурно организованным и бессистемным, как дом, будто его собрали из всего, что удалось найти в холодильнике десять минут назад. Подавали томатный суп, густой, как соус, с сильным привкусом кетчупа; куропаток, недоготовленных настолько, что я видел красные нити артерий, прорезающие плоть; морковь и лук, такие переваренные, что при малейшем нажатии они обволакивали зубцы моей вилки; еще один суп, который состоял вроде бы исключительно из сваренного репчатого лука пополам с пореем и был украшен влажной многозначительной загогулиной горчицы; а на десерт – нечто, что Смайт гордо объявил хурмой: плоды в благочинном восточном порядке расположились на бело-синих китайчатых блюдцах, но по жесткости не уступали зеленым сливам, и на вкус, когда мне в конце концов удалось отпилить кусок, были как трава, только кислые, и это впечатление я смог исправить лишь много лет спустя.

За столом, кроме нас двоих, никого не было. Смайт сидел в торце, ближе к кухне, а я – справа от него. С каждой переменной блюд он вскакивал на ноги, исчезал за раздвижной дверью и триумфально возвращался с двумя тарелками. Когда я приближался к его дому с бутылкой вина, которую догадался купить в последний момент, мне пришло в голову, что, возможно, он захочет меня допросить и все это окажется каким-то испытанием. Я не беспокоился, удастся ли мне пройти его, но перспектива сидеть со Смайтом – и, предполагал я, его семейством – и излагать свои мысли о разных научных загадках современности меня не особенно радовала. Тревога моя оказалась напрасной, потому что Смайт весь вечер не закрывал рта, от момента, когда я вошел и он одной рукой взял мое пальто, а другой протянул мне пластиковый стакан бренди (я никогда не любил фланелевый вкус бренди на зубах и вылил жидкость в горшок с опадающим фикусом, стоявший в прихожей, когда Смайт отправился налить себе еще), на протяжении всего ужина и до рюмки хереса, которую он поставил передо мной в конце трапезы и которую я выпил, хотя мечтал о чем-нибудь сдобном, чтобы забить вкус хурмы. Рюмка была хрустальная и тяжелая, и я медленно вращал ее, глядя, как отблески падают на противоположную стену

нездорового пергаментно-желтого цвета.

Вечер начался со светского разговора, к которому я был непривычен и неспособен. Поняв, что говорить мне не придется, нужно только время от времени улыбаться и кивать, я испытал облегчение. Постояв некоторое время в прихожей (налево от меня располагалась темная и необжитая гостиная), оба с пластиковыми стаканами в руках, мы сели за стол, и он переменял тему, заговорив о своей работе. Вы решите, конечно, что за два с лишним часа, которые я провел в обществе Смайта, рассуждающего о своей работе, я узнал что-нибудь интересное, что он сказал что-то глубокое или, по крайней мере, неоднозначное? Ничего подобного. Он обладал способностью долго говорить об интересных вещах, делая их каким-то образом не только совершенно неинтересными, но и невразумительными.

– Скажите, – произнес я, пока Смайт азартно разрезал птицу – свои порции он поедал жадно и с явным удовольствием, но так и не заметил, что я к своим едва притрагивался, – вы не могли бы немного рассказать о своем исследовании вирусной мутации? – Это же было основание его теории, труд всей его жизни. Но он не хотел говорить о своих исследованиях, вместо этого он говорил о людях, которые этим исследованиям мешают. Это был декан, и заместитель декана, и тот сотрудник, и еще вот этот – он перечислил десятки имен, объясняя мне, что каждый сделал не так, как они все были посрамлены и взглянули на него по-новому. Декан, по слухам, закатил глаза, услышав о заметке в журнале «Тайм». Замдекана вначале отказался дать ему желанное помещение в Чейз-Холле, пытался запихнуть в более темную, маленькую, непригодную лабораторию на пятом этаже. Но ведь победа досталась ему, правда? Он рассказывал эти истории без язвительности, даже весело, пока капли лукового супа падали с ложки в тарелку. Не закрывая рта, он с извинениями проследовал на кухню и вернулся с очередной порцией супа, на этот раз смесью двух предыдущих, которую он стал мешать обратной стороной ложки, доводя жидкость до странной пастообразной консистенции, а потом заткнул свою салфетку за воротник, чтобы уберечь галстук. Он придерживал салфетку на рубашке одной рукой и зачерпывал суп другой, бормоча что-то одобрителное.

Глядя на него, я гадал, какие выводы сделали бы из этого зрелища «турки»: может быть, они уже знают, каков Смайт на самом деле? Если так, почему они льнут к нему, как они могут его уважать? Может быть, я недооценил пределы их терпимости? Или это игра, которую Смайт ведет только со мной? Может быть, «турки» и младшие ординаторы собрались в затененной гостиной, с трудом

сдерживая смех, и смотрят представление, где я – несведущий участник? Да и вправду ли это дом Смайта? Где его жена – я знал, что у него есть жена, и на левой руке поблескивало тонкое золотое кольцо – и не слишком ли неестественно тихи эти комнаты? Я представлял, как изобретаю предлог, чтобы пройти на кухню или через прихожую в гостиную, и мне открывается настоящий дом, где Смайт ораторствует внятно и ведет себя как выдающаяся личность, каковой мы все его считаем, а его прелестная жена подает нормальную еду, и его жизнь обретает в моих глазах смысл, и я перестаю чувствовать себя каким-то антропологом в собственных широтах с человеком, который нанял меня на работу и пригласил к себе домой на ужин.

После хереса он на некоторое время замолк, и я наконец смог вставить слово.

– Скажите, – спросил я, – почему вы меня взяли на работу?

– Да, – сказал он, помолчав, – действительно, почему. – Он вздохнул и покачал рюмкой в руке, и образовавшиеся переливы скользнули по его лицу огнем светлячка. – Вы не примерный студент, вы мечтательны и высокомерны. Ваши профессора не могут с вами сладить. – Все это он произнес весело, тем же приятным тоном, каким перечислял разнообразные провалившиеся замыслы своих неприятелей. – Но когда мне рассказали про вас, – тут он повернулся и взглянул на меня, и я впервые увидел его глаза, и кожаные складки под ними, и склеры, розовые, как у тех мышей, чьи органы я собирал и пропускал через сито каждый день, – я, видимо, вспомнил себя в вашем возрасте. Как страстно мне хотелось куда-то деться, как я ни к чему не мог примкнуть, как мечтал о свободе, как мечтал о собственной славе. Мы с вами похожи.

«Я не такой», – хотел сказать я, но не сказал. Он – теперь мне это стало видно – был пьян. Как давно? Был ли он пьян уже, когда я пришел? Я вдруг почувствовал себя глупо, по-детски, и смутился. Почему я не понял сразу, что меня ждет? Почему умение разбираться в людях – такой секрет, который, похоже, не дается только мне? Пока я размышлял об этом, Смайт стал издавать странные, быстрые глотательные звуки. Я решил, что он подавился, но, подбежав к нему, понял, что он плачет, прижав подбородок к салфетке, по-прежнему покрывавшей рубашку, по-детски сложив руки на коленях.

– О господи, – сказал он, – господи.

Я не знал, что делать. Мое пальто лежало на соседнем стуле, куда положил его Смайт. Я схватил его и бежал.

В понедельник я не пошел в лабораторию и не пошел ни на какие занятия. Вместо этого я остался дома, читал или листал географический атлас и составлял списки тех мест, где хочу побывать. Время от времени я думал о словах Смайта и пришел к выводу, что он неправ. Я вспоминал, как он плакал, и чувствовал жалость к себе и отвращение к нему. Когда мне хотелось есть, я готовил свое любимое блюдо, горячую овсянку, в которой размешивал сырые яйца, пока мне не пришло в голову, что это как раз такая странная смесь, какую мог бы подать Смайт. Я ужаснулся от мысли, что могу стать им, хотя только несколько лет спустя – примерно тогда же, кстати, когда открыл, каков настоящий вкус хурмы, – определил почему: хуже, чем его дурная наука, чем его сомнительная ученость, была его мелкая, необъяснимая одинокая жизнь в этом странном доме, где никто не мог отвлечь его от собственного утлого существования. Я с ужасом понял, что и у меня бывают такие мелкие, жалкие страхи, что я могу думать так же банально и плоско.

Я бездельничал несколько дней, потом позвонил секретарь мединститута и без обиняков спросил, собираюсь ли я возвращаться к занятиям, а потом Брассард, который в своей обычной высокомерной манере сообщил, что я, возможно, загубил эксперимент Партона и возвращаться мне нет смысла. Повесив трубку, я испытал облегчение, потому что в течение ужина со Смайтом лаборатория начала казаться мне западней, местом, где я неизбежно стану таким же, как он, и буду лелеять собственную теорию, не порождая никаких идей, с испугом ожидая неизбежного дня, когда мой обман вскроется. По крайней мере, я объяснил себе, что боюсь именно этого. Теперь же меня не просто отпустили, но сказали, что я им не подхожу, что никогда не стану одним из них, и эти слова, это отчисление заставило меня трепетать от радости. Я в безопасности, думал я, и некоторое время – долгое время – так оно и было.

На следующий день я вернулся к занятиям. Мои профессора, из которых кое-кто довольно близко общался с «турками», видимо, узнали, что я больше не работаю в лаборатории Смайта и, как ни удивительно, стали относиться ко мне лучше, чем раньше, хотя я по-прежнему ничего выдающего собой не представлял. Но я следил за тем, чтобы не чувствовать по этому поводу досады, как могло бы случиться прежде. Я вспоминал Смайта – «вот теперь-то они ко мне подлизываются, теперь предлагают то, чего мне хочется», – и меня передергивало. В течение следующего года я ходил на занятия и тихо сидел в

лекционных аудиториях, дав обет не изображать из себя кого-то более важного, чем в реальности. Это был мой первый опыт смирения – в лаборатории и в жизни[16 - Когда выводы Смайта были опровергнуты, он попал в немилость, но трудно не признать, что виновником собственного унижения отчасти оказался он сам. Смайт славился высокомерием и имел множество неприятелей в академическом сообществе; когда ситуация обернулась против него, он сопротивлялся и оскорблял критикующих, вместо того чтобы просто с достоинством отступить в тень. Поскольку Смайт находился в должности пожизненного профессора, он оставался в Гарварде до самой смерти в 1979 году от рака печени (в чем была горькая ирония), хотя видно его было все меньше, и с 1968 года он был переведен, по сути дела, на постоянный испытательный срок. Как и предполагал Нортон, у Смайта действительно была семья – жена и две дочери. Интересно, что в наши дни они, а не он, хорошо известны в контркультурных кругах как руководители небольшой, но влиятельной феминистской группы наподобие «Синоптиков», которую они основали в 1967 году. Нортон, вероятно, ужинал в доме Смайта вскоре после того, как его жена, поэтесса Элис Рив, бросила его и сбежала с детьми в Канаду со своей любовницей, профессором поэзии из колледжа Рэдклифф по имени Стелла Янович. Но это – сюжет для отдельной истории.].

3

Одна из привлекательных сторон медицинского института для людей с неразвитым воображением (или, если выражаться более снисходительно, для людей, не слишком склонных к мечтаниям) – это, конечно, ограниченность выбора. Разумеется, врач, независимо от того, работает он с пациентами или в одиночестве с тканями, вынужден принимать десятки решений в день, но на большие вопросы – вопросы о том, что дальше делать в жизни, – ему отвечать не надо. Никогда не приходится гадать, что принесет следующий год, путь прочерчен на много лет вперед, и твоя единственная обязанность – по нему следовать. Колледж ведет к медицинской школе, а она – к интернатуре и резидентуре, а они, возможно, к грантам, а затем наступает черед назначения, или частной практики, или работы в больнице или лечебной группе. Так обстоит дело сейчас, так было и тогда, когда учился я.

К январю своего последнего года в медицинском институте я чувствовал тревожное напряжение. Это ощущение было непривычным и нежеланным. Я не намеревался работать с пациентами, и пока мои однокурсники проходили разные собеседования в интернатуру, я торчал в своей комнате, как пень, и

ждал, что будущее каким-то способом прояснится. Сейчас мне неловко от того, насколько недвижим я был, как позволил невежеству и наивности поставить меня в тупик, но тогда мне казалось, что это более или менее приемлемый способ реагировать на будущее, которое я даже близко не мог себе представить.

Несколько месяцев прошло в таком параличе, и примерно в марте – как раз через год после злополучного ужина со Смайтом – один из моих преподавателей по имени Адольфус Серени[17 - Один из выдающихся хирургов и биологов своего времени, Адольфус Густав Серени (1896–1974) был одним из самых значительных преподавателей Гарвардской медицинской школы, когда там учился Перина. У них с Периной сложились плодотворные, а после напряженные взаимоотношения, о которых в этом повествовании еще пойдет речь.], у которого я в тот момент завершал хирургическую практику, как-то раз вызвал меня в свой больничный кабинет.

– Ну что, Перина, – сказал Серени, – вы что собираетесь делать после выпуска?

– Не знаю, – ответил я.

Серени бросил на меня долгий взгляд, потом вздохнул. Он был большой, округлый человек, со светлыми, неопределенного цвета волосами на макушке. Раньше мы никогда не разговаривали с ним, разве что на обходах, да и то не много.

– Тут есть одно дело, – сказал он, – и вам предлагается в нем участвовать.

– Какое? – спросил я.

Он снова вздохнул – не от раздражения, думаю я теперь, а потому, что он был толст и одышлив и часто вздыхал. Когда он двигался в кресле, вокруг возникало движение воздуха.

– Дело вот какое, – начал он. – Есть такой человек, Пол Таллент. Антрополог из Стэнфорда, молодой, авторитетный. Утверждает, что у него есть данные о некоем затерянном племени на острове под названием У’иву. Слышали? – Я не слышал. – Ну, не важно. Где-то в Микронезии, насколько я понимаю, надо посмотреть в атласе, чтобы точно понять где. Маленький остров. В общем, у

Таллента есть какой-то частный грант, довольно приличный, насколько я понимаю, чтобы отправиться туда и изучить этих людей – ну, конечно, если сможет их найти. – Еще один вздох, хотя на сей раз, я думаю, намеренный. Медики в те времена были невысокого мнения об антропологах, которых считали – во многих случаях справедливо – не настоящими учеными. – В его команде будет он сам, конечно, его ассистент и врач, который будет отвечать за забор крови, сбор образцов, запись и, – он взмахнул пухлой рукой, – все такое. У него есть здесь связи, так что он спросил, можно ли уговорить молодого врача с ним отправиться. Порекомендовали вас. Интересуетесь?

Кажется, у меня впервые в жизни закружилась голова.

– Да, сэр.

– Вы должны понимать, Перина, – сказал Серени с суровостью, показавшейся мне драматичной и оттого волнующей, – что это как минимум четырехмесячная работа, что у вас, скорее всего, не будет денег, чтобы за это время съездить домой. И что эта, гм, экспедиция может вообще ничем не завершиться. Что вы можете провести долгие месяцы своей жизни в погоне за плодами чужого воображения. Что остров, на котором вы будете жить, в сущности, *terra incognita*. Что вы почти наверняка будете испытывать всяческое стеснение, скорее всего, практически во всем. Вы это понимаете?

– Понимаю, – ответил я. Он снова вздохнул, почти печально, хотя печалиться обо мне не мог, он же не знал меня и не питал ко мне никакой личной привязанности. – Когда надо уезжать?

– Мне сообщили, что он хочет уехать скоро, очень скоро – возможно, в конце июня. У вас едва остается время на выпуск.

– Ничего страшного, – уверил я его. Раньше так раньше; мой диплом был мне безразличен. – Но скажите, – продолжил я, – почему об этом со мной говорите вы? Почему не знакомый Таллента?

– Он сейчас в отъезде, но просил меня поговорить с вами при первой возможности.

– Кто этот знакомый Таллента? – спросил я. Но ответ мне был уже известен.

– Грегори Смайт, – ответил Серени[18 - Контакт был на самом деле опосредованный: со Смайтом прятельствовал один из коллег Таллента в Стэнфорде, а не сам Таллент.]. Он снова взглянул на меня, и на этот раз вид у него был озадаченный. – Он очень благосклонно о вас отзывался.

Мне некоторое время не давало покоя то обстоятельство, что мою кандидатуру предложил Смайт, и только когда я был гораздо старше и руководил собственной лабораторией, я осознал, по каким причинам он рекомендовал меня для дела, которое увело бы меня далеко от него, от опасности встретить меня на кампусе и смутиться – в конце концов, он же плакал на моих глазах и кормил меня странной едой, – туда, где единственными, кому я смогу рассказать о его причудливом поведении, будут дикари каменного века с декоративными костями в носу. К моменту, когда я разобрался в том, что им двигало, такое самоспасительное действие уже не нуждалось ни в каком прощении, и я мог только жалеть Смайта, его искореженную жизнь и еще более печальный тупик, в который она устремилась. (Возможно, все, что вам нужно знать о медицинском институте, да и о Смайте, заключается в том, что, когда мне предложили это назначение, многие – по крайней мере, «турки» и им подобные – сочли его унижительным наказанием, а мое согласие – чем-то вроде профессионального самоубийства, неоспоримого доказательства то ли моего идиотизма, то ли неподходящести, то ли того и другого вместе.)

Следующие несколько месяцев прошли быстро. Я не нервничал; я не тревожился; я занимался учебой и каждый вечер шел домой с чувством спокойной легкости. Я начал собираться за несколько недель до отъезда, пакуя в парусиновый рюкзак то, чему отныне было суждено стать моими орудиями труда: спирометр, термометр, манжетку для измерения кровяного давления и стетоскоп, неврологический молоточек и маленький переносной микроскоп. У меня был контейнер из кедрового дерева, чуть больше ящика для сигар, где я держал разные мелкие предметы – пуговицы и винты, кнопки и резинки – и куда теперь упаковал две дюжины стеклянных шприцев, обернув каждый в марлю, и запасную дюжину стальных иголок, и металлическую фляжку, заполненную дезинфицирующим раствором из лаборатории. Я получил короткое письмо от Пола Таллента – он приветствовал меня как нового члена команды и снабдил инструкциями: нам предстояло встретиться 20 июня (на следующий день после моего выпускного, как оказалось) на Гавайях и там договориться с экипажем военного транспортного самолета, который по дороге в Австралию высадит нас на островах Гилберта[19 - Ныне Кирибати.], откуда мы продолжим свой путь на

У'иву. Впрочем, кроме этих подробностей, он не предоставил никаких полезных сведений – что паковать, чего ожидать, ничего конкретного о природе его исследований, даже про сам остров ничего. Несколько месяцев спустя, на У'иву, я раскладывал перед собой свои инструменты и дивился тому, как я заблуждался, как неверно все рассчитал, и еще до отъезда я растерял большую часть снаряжения – книги, куртки, башмаки, даже свой сачок, – разбросав его по у'ивуанским джунглям, потому что эти вещи не имели никакого отношения ни к жизни островитян, ни, как оказалось, к моей собственной.

Впрочем, не могу слишком сурово себя винить: в конце концов, незнакомство с ожидающими меня обстоятельствами было почти полностью вызвано тем фактом, что мир в целом ничего не знал про У'иву. Выйдя из кабинета Серени, я немедленно отправился в библиотеку, чтобы изучить географический атлас, но, даже зная координаты острова, я потратил несколько секунд на то, чтобы его обнаружить, перелистывая страницы, покрытые голубизной океана. А потом нашел: три маленьких светло-зеленых точки, как три вершины кривоватого равнобедренного треугольника, с неясной, затуманенной топографией, чуть меньше чем в тысяче миль к востоку от Таити. Дальнейшее изучение вопроса выявило небольшое собрание фактов, каждый из которых был по отдельности вполне интересен, но в сочетании они ничего не добавляли друг к другу и не складывались в единое целое. Страна, прочитал я, никогда не была никем колонизирована. Население, как считалось, подобно гавайцам, прибыло с Таити пять тысяч лет назад на каноэ с балансиrom. Это культура охотников и рыболовов; все дети, мальчики и девочки, должны убить (энциклопедия не объясняла, как именно) дикого вепря к своему четырнадцатилетию[20 - Этот распространенный миф происходит, вероятно, от сочетания двух фактов: во-первых, все у'ивские мальчики получают копье на свое четырнадцатилетие; во-вторых, первый король этих островов, Улоло Могушественный – который объединил многочисленные племена, разбросанные по всему архипелагу, примерно в 1645 году; его дело было завершено королем Вакой I через сто с лишним лет – якобы голыми руками убил дикого вепря, когда ему еще не исполнилось четырнадцати лет. С тех пор вепрь занимал важнейшее место в у'ивской жизни: хотя это главный спутник охотника и символ свирепости этой цивилизации по отношению к внешнему миру, убийство или приручение вепря тоже считается важным достижением, доказательством силы и храбрости воина. Фундаментально двойственная природа этого животного в у'ивском обществе – он одновременно друг и противник, – кажется, никогда не беспокоила у'ивцев.]. У них есть король, Туимаи'элэ, у него три жены и тридцать детей, он живет в деревянном дворце в столице под названием Тавака. Страна небогата, но на плодородной почве всегда хватает еды. Когда-то тамошний народ славился

своей жестокостью, и рассказы об их любви к суровым деяниям и крутым нравах наводили страх на окрестный морской простор – до такой степени, что капитан Джеймс Кук намеренно миновал острова в своей тихоокеанской экспедиции. («Жестокость вежийцев, – написал он годом раньше в письме другу, – тревожит мой экипаж, и поскольку плыть под парусом туда непросто, бросать якорь в этих местах мы не станем».)

Я прочитал это в энциклопедии, но поверить всему перечисленному не мог: деревянный дворец, король с тридцатью детьми, охота на дикого вепря – все это звучало знакомо, как что-то уже читанное, скажем, в кипплинговской истории про какой-то аллегорический далекий край. Но хотя со своим жизненным опытом я еще не мог этого доказать, я даже тогда подозревал, что причудливые подробности окажутся самыми обычными, что самые поразительные детали рассказа лишь притупят впечатление от того, что на самом деле должно изумлять. И в этом ощущении я не ошибся.

Часть III

Сновидцы

1

Июнь оказался не похож ни на один из предыдущих месяцев в моей жизни, и в конце каждого июньского дня я рано ложился хотя бы только для того, чтобы несколько минут подумать обо всем, что успел увидеть и почувствовать. Я пропустил выпускной и отправился на Гавайи за две недели до назначенной встречи с Таллентом. В мой последний кеймбриджский вечер (Кеймбридж начал исчезать у меня из памяти, когда я еще не успел его покинуть, быстро и бесследно, как соль в горячей воде) ко мне из Нью-Хейвена приехал Оуэн. Прощание получилось неудовлетворительным – Оуэн вел себя грубовато и как будто за что-то на меня сердился, – но он согласился хранить некоторые мои вещи (книги, документы, зимнее пальто, тяжелое, как труп), которые мне не нужны были в поездке. Мы договорились писать друг другу, но я видел по выражению лица, что он в этом сомневается так же, как и я сам. Только когда мы уже пожали друг другу руки и он ушел с чемоданом, полным моих вещей, я

задумался, какой будет моя жизнь на таком расстоянии от Оуэна; конечно, мы по мере взросления разговаривали все меньше и меньше (эта отчужденность казалась столь же неизбежной, сколь и загадочной), но он был единственным человеком, знавшим меня, помнившим меня в каждый год моей жизни, потому что это была наполовину и его жизнь. Это сожаление тоже быстро рассеялось, так страстно мне хотелось начать свое новое существование – в тот момент легко было поверить, что вся моя жизнь до этого момента – лишь длинная и скучная репетиция, которую приходится нетерпеливо переживать и выдерживать; подобие жизни, а не сама жизнь.

У меня был билет на поезд до Калифорнии, а там я сел на судно, идущее в Гавайи. В те времена Гонолулу все еще оставался по сути своей тихим колониальным поселением со всеми положенными красотами и штампами, и пока судно швартовалось в гавани, на доке можно было разглядеть толстых, веселых музыкантов, которые тренькали свои простые песенки на укулеле, и босых пареньков, полуазиатских, полу-каких-то еще, которые с улыбкой выпрашивали мелочь у сходящих на берег пассажиров.

Предполагалось, что я остановлюсь в комнате местного университетского общежития, но я прибыл раньше обещанного, и в здании не оказалось мест – койка освобождалась только на следующий вечер. Поэтому в ту первую ночь, оставив багаж в общежитии, я взял такси и доехал до Вайкики, а там по песку добрал до Даймонд-Хед, переходя с пляжа на пляж. Издалека время от времени долетали звуки баров: мужской смех, музыкальная чунга-чанга. Я то и дело останавливался и слушал, как сухие пальмовые ветви стучат друг о друга, подобно костям, как океан ведет сам с собой беспощадный и одинокий разговор, и этот звук – хотя в тот момент я об этом не знал – мне не суждено было вновь услышать в ближайшие месяцы. Я шел, озаренный луной, которая здесь светила как будто белее, круглее и ярче, чем в Бостоне, а когда устал, лег под деревом и заснул, как делали другие туманные тени, пока я медленно брел по песку.

На следующий день я отправился в центр города мимо симпатичных колониальных зданий. Самым выдающимся из увиденного была, впрочем, не постройка, даже не скромный приземистый дворец, где некогда жила скромная приземистая королева, а деревья перед ним – древние кассии с листьями вроде персиковых лепестков, которые окружали стволы нежными снеговыми смерчами. В Чайнатауне я шагал мимо оборванных спящих людей с черными морщинистыми и поцарапанными подошвами, пока не нашел открытую дверь бара. Этот Чайнатаун не был благополучным местом; из затемненных недр его

печальных покосившихся салунов, как яд, изливался дурной джаз. Но солнце грело жарче, чем я ожидал, и мне очень хотелось пить.

Бармен был такой плосколицый, словно его кто-то схватил за уши и потянул в разные стороны, и такой загорелый, что кожа у него стала лощеной и гладкой, как у курицы, которую слишком долго жарили в масле. Я решил, что он китаец или, по крайней мере, какой-то восточный человек, потому что глаза у него были узкие, с нависшими мешками, хотя при этом грубые черные волосы собирались в завитки. Я попросил стакан газировки, а он смотрел, как я жадно пью.

– Ты откуда? – наконец спросил он.

– Из Бостона, – ответил я. У него не было большого пальца на левой руке, хотя обрубком он мог шевелить и делал это довольно выразительно, примерно как собака шевелит обрубком хвоста.

Это известие его не впечатлило, но разговаривать в баре больше было не с кем, так что, когда я допил воду, он, ничего не спрашивая, снова наполнил мой стакан.

– Давно здесь? – спросил он.

– Недавно, – ответил я. Теперь, утолив жажду, я мог сосредоточиться на помещении – приземистом, темном, лакированном, с деревянным прилавком, липким от многолетних табачных испарений, пролившегося алкоголя, масла для готовки. – Я еду на У’иву.

К моему удивлению, тут он кивнул, и когда я спросил, что он про это знает, он засмеялся и сказал:

– Славные охотники. Вепри. – Он снова наполнил мой стакан. – Жуть. – Было неясно, что он имеет в виду – людей или вепрей. Следующие его слова прозвучали почти нежно: – Очень они там буйные.

Я ждал, что еще он скажет, но он стал напевать извилистую, тоскливую мелодию, которая звучала на удивление трогательно в нелепой обстановке бара, и когда стало ясно, что больше он ничего не скажет, я допил свою воду,

расплатился и снова вышел на солнце.

Я провел так еще несколько дней, ездил на такси к разным островным пляжам и удивлялся тому, что поначалу они кажутся одинаково и неразлично прелестными, но потом открываются своими отличиями и разными сторонами: на одном песок был так мелок, что, даже выколов рубашку и штаны, я все еще стряхивал его с одежды и вычищал из волос на следующий день; другой был заминирован крошечными, невидимыми шишками вдоль линии нелепых, разлапистых казуарин, стоявших вдоль моря, так что каждый шаг причинял небольшую и неизбежную боль; еще один был покрыт песком цвета и консистенции влажного сырцового сахара, жестким и клейким на ощупь. Как-то днем я пошел в городскую библиотеку, где мне помогли отыскать старую книгу про У'иву в тканевом переплете. Оказалось, что это книжка-картинка, букварь на гавайском языке, опубликованный Миссионерской академией Гонолулу в 1871 году, где на каждой странице размещалась простая гравюра и несколько строк пояснения. Поскольку книга была на гавайском, прочитать ее я не мог, но картинки – вепрь с черными глазами-бусинами и клыками, выгнутыми так затейливо, будто это старомодные закрученные усы, улыбающийся король, толстый, без рубашки, сжимающий нечто похожее на длинную метлу для смахивания пыли, шишковатая торпеда, видимо изображавшая сладкую картофелину, – представили эту страну более, а не менее фантастическим местом, которое и правда существует только в детских сказках.

Наконец наступил день встречи с Таллентом. Он послал телеграмму в общежитие, где я остановился, сообщил, когда прибудет, и предложил встретиться в вестибюле в шесть вечера; на следующее утро в восемь мы должны были отправиться в путь. Полет на острова Гилберта занимал девять часов; потом – еще три часа дороги до У'иву.

Я нервничал перед встречей с Таллентом, и это было неприятно: обычно я не тревожился перед знакомством с людьми, и, кроме того, моего участия хотели, я врач, я (объяснял я себе) необходим в его экспедиции. Но это была наведенная самоуверенность, я ведь понимал, хотя и не мог себе признаться, что, если бы не Таллент, я и мечтать не смел бы о таком приключении – сидел бы себе в Бостоне, без работы, без перспектив, надеясь на второсортную интернатуру в третьесортной больнице. За несколько минут до шести я оделся (я даже привез с собой костюм, от которого потом быстро избавился) и спустился в вестибюль, где были прохладные цементные полы и два украшенных оранжевыми подушками бамбуковых дивана, между которыми лежал грязный пальмовый

коврик.

Там уже сидел, склонившись над книгой, какой-то человек, и пока я шел в его сторону, он поднял на меня глаза.

Нет никакого удовлетворительного или небанального способа описать человеческую красоту, и к тому же мне неловко это делать. Так что я только скажу, что он был красив, и я вдруг смутился, не зная даже, как к нему обратиться – Пол? Таллент? Профессор Таллент? (Уж точно нет!) Красивые люди заставляют даже тех из нас, кто гордо считает себя равнодушным к чужой внешности, замирать от восхищения, страха и восторга и смиряться с глубоким, изнурительным осознанием собственной ничтожности, в которой никакая деталь – ум, образование, деньги – не может превозмочь, подавить или обнулить красоту. Пока тянулись те месяцы, что я провел рядом с Таллентом, его красота то мучила, то утешала меня, и я поочередно поддавался ей, радовался своей близости к ней и, с меньшей радостью, пытался сопротивляться ей, что было столь же бесплодно и бессмысленно, как попытка убедить себя в кислоте сахара.

– Пол Таллент, – сказал Таллент, пока я пялился на него (хотя в этом уже не было необходимости).

Я пробормотал ответное приветствие. Мы пожали друг другу руки.

– Вы, значит, нормально добрались, я вижу.

Я хмыкнул. Мы стояли на краю грязного коврика, Таллент возвышался надо мной на дюйм или два. Я смотрел на свои ботинки.

– Готовы ехать? – продолжил он. Я кивнул. – Ну, я очень рад, что вы присоединились к экспедиции.

Я заметил, что он говорит особенным образом – в его предложениях не было ни вопросительных, ни восклицательных знаков, но при этом голос казался не монотонным, а полным оттенков, богатым и каким-то значительным, из чего возникало ощущение густого леса с разными деревьями, без исключения пышными и величавыми. Этот голос не выдавал ничего – ни одобрения, ни радости, ни страха, ни гнева, – но сводил с ума обещанием тайн. Я хотел, чтобы

он сказал что-нибудь еще, но страшился задать хоть какой-то вопрос, вообще вдруг потерял дар речи.

– Ну что ж, – сказал наконец Таллент, несомненно встревоженный моим немногословием, – увидимся завтра утром.

И тут я понял, что мог бы ему сказать: «Давайте, может быть, поужинаем?» Но он уже отошел, конечно, а я так и остался стоять в одиночестве.

В полете у меня появилась возможность изучить Таллента более внимательно[21] - Из всех персонажей, проследовавших за последние полвека по стезе антропологии, Пол Джозеф Таллент (1916-?), вероятно, остается самым удивительным и непознаваемым. Родившись, скорее всего, у матери из племени сиу, он с младенческих лет рос в сиротском приюте Святого Иосифа для мальчиков в городке Клауд-Прэри, непосредственно примыкающем к Пирру, Южная Дакота (территория города входит теперь в черту столицы штата, название он утратил). Приют Святого Иосифа был католическим детским домом с непропорционально большим количеством мальчиков-индейцев; он славился, в частности, тем, что обучал своих воспитанников различным ремеслам, в том числе сантехническим работам и плотницкому делу. Таллент привлек внимание одного из преподавателей, брата Петра (в миру его звали Майкл Таллент, и свою фамилию Таллент, несомненно, позаимствовал у него, поскольку по умолчанию всем мальчикам в приюте Св. Иосифа автоматически присваивалась фамилия Джозеф), который обучал его и обеспечил ему стипендию в школе Св. Франциска, католическом интернате в Пирре. В интернате Таллент учился превосходно и завоевал сначала стипендию Дартмурского колледжа (где получил диплом бакалавра гуманитарных наук в 1937 году), а затем Чикагского университета, где в 1941 году защитил диссертацию (как и Нортон, Таллента не взяли на военную службу, хотя на каком основании – неизвестно). Он действительно был, как отмечает Нортон, очень хорош собой, и этот факт способствовал возникновению той атмосферы героической романтики, которая позже стала его сопровождать. Таллент слыл выдающимся молодым дарованием с первых же шагов в Чикаго, где он преподавал на протяжении трех лет после получения докторской степени, а затем и в Стэнфорде, ставшем его постоянным академическим обиталищем. В Чикаго он нашел себе наставника в лице выдающегося антрополога Лео Дюплесси, изучавшего в тот момент репродуктивные ритуалы народа хавава, небольшого племени из джунглей Папуа – Новой Гвинеи; несомненно, Дюплесси в значительной степени

сформировал научные склонности и сферы интересов Таллента. Предполагается, что Дюплесси, который умер в 1943-м, помог Талленту организовать его первую поездку на У'иву в том же году, но в архиве Дюплесси такой информации нет, и судить об этом с уверенностью невозможно. Среди многочисленных сетований биографов и ученых, которые позже занимались жизнью и деятельностью Таллента, главное место занимает отсутствие записок и каких бы то ни было личных материалов. Многие просто не могут поверить, что Таллент, так скрупулезно документировавший каждую подробность в полевых условиях, не оставил никакого дневника или по крайней мере переписки. Этот пробел, наряду с его трудами и исчезновением, которое по-прежнему остается загадкой (Нортон пишет об этом позже), разумеется, только подстегивает интерес к фигуре Таллента, так что несколько историков уже много лет пытаются составить его максимально полные жизнеописания. (Поскольку Нортон относится к числу тех людей, что работали с ним теснее многих в самый плодотворный период его исследований, к нему часто обращаются с просьбами об интервью и воспоминаниях.) Мне же кажется, что за эту задачу следует браться скорее романисту, нежели историку: к неразгаданным сторонам жизни Таллента относятся его сексуальная ориентация, его происхождение, подробности его детства, его любовная жизнь (или ее отсутствие) и, конечно, обстоятельства его смерти. Он предоставил плодотворную почву теоретикам заговора всех мастей, и в некоторых маргинальных сообществах гуманитариев даже почитается как некий мистик.]. Самолет был военный и в своем ангаре выглядел таким громоздким и раздутым, что казалось, будто шансов на полет у него не больше, чем у дронта. Мы с Таллентом и нашим багажом занимали отсек с бесконечными ящиками припасов, но других пассажиров там не было; моторы ревели так громко, что разговор – к моему облегчению – оказался невозможен, так что, рассеянно поулыбавшись мне и что-то записав в блокнот, где-то через час он закрыл глаза и задремал.

Я никогда особенно не задумывался о собственной внешности – мое тело до тех пор служило утилитарным нуждам, и мне не казалось, что менять, формировать и улучшать его желательно и возможно. Но глядя на Таллента – на его волосы, кожу, глаза однородного темно-золотого цвета бренди, на его зубы, удивительно белые и тесно посаженные, отчего в улыбке проявлялось что-то волчье, – я неизбежно осознавал собственные недостатки: шишковатые колени, мучнистую кожу, жидкие космы волос. Наша с Таллентом принадлежность к одному виду казалась в тот момент невозможной и смехотворной, и в его совершенстве, на фоне которого мне оставалось разве что подсчитывать свои пробелы, было что-то жестокое. Я провел остаток полета, уставившись на него, мечтая, чтобы он открыл глаза, и страшась этого, с отвращением чувствуя боль

и одновременно наслаждаясь ею. Когда самолет наконец приземлился и Таллент проснулся, я был вымотан и воодушевлен, я был полон нежной, неприкосновенной грусти.

– Следующая остановка – У’иву, – сказал Таллент, когда мы вышли из самолета, и, похоже, в его голосе звучала радость; я тоже был рад.

С Гилбертов мы полетели в сторону У’иву на жужжащем самолете-комаре с такими мощными и громкими пропеллерами, что деревья, длинные пучки финиковых пальм, отклонялись назад во время нашего снижения. Самолет развернулся и стал спускаться вдоль длинного, изогнутого хребта гор, и в ту секунду, что мы висели над хлипкой, нежной линией, соединявшей океан с землей, я посмотрел на горизонт и понял, что не могу определить, где кончается небо и начинается вода: все пространство было покрыто удивительным, неопределенным голубым цветом, дерзкой и безымянной голубизной, такой настойчивой и однотонной, что мне пришлось закрыть глаза.

У’иву, как я уже упоминал, – это группа из трех островов, из которых только два официально считались обитаемыми. Первый из них так и назывался, У’иву, главный остров с очертаниями хлебного батона, примерно двадцать миль в длину и десять в ширину, с единственным сплошным горным хребтом под названием Та’имана, который проходил вдоль по всему острову. На этом острове жил король, как и большая часть 35-тысячного населения страны. В шестидесяти милях к востоку от У’иву лежал второй остров, Ива’а’ака, примерно такой же формы и размера, чья северная сторона была совершенно неприступна благодаря каменным утесам; даже с воздуха я видел, как волны разбиваются о них в жирные белые гребешки, словно пригоршни перьев, подброшенных в воздух, а стаи ширококрылых птиц парят вокруг острых вершин из вулканического камня. Но остальное пространство Ива’а’аки состояло из низких зеленых холмов, и поэтому фермерское хозяйство страны в основном велось там: мы летели над акрами аккуратных ступенчатых полей, где почва была размечена едва заметными зелеными и золотистыми точками.

– Таро, – сказал Таллент, указывая на одно из них, а потом на другое: – Батат.

– Как их можно отсюда различить? – спросил я, не замечая никакой разницы между полями и растительностью на них.

Он пожал плечами.

– Можно, – сказал он, и мне почему-то стало стыдно за свой вопрос.

Мы пролетели над хижинами, простыми постройками, покрытыми, как мне было видно даже с воздуха, пальмовыми листьями, над несколькими деревянными домами, но большая часть фермеров на Ива'а'аке работала сезонно, и постоянного населения на острове почти не было. Только надзиратели за плантациями – ибо все эти хозяйства принадлежали королю и их урожай отдавали правительству, которое затем распределяло его среди граждан У'иву, – жили здесь круглый год, объяснил мне Таллент; сборщики, плодороды, садовники приезжали на Ива'а'аку сменами на три месяца, а потом на лодках возвращались домой к своим семьям на главном острове. Самолет снизился, и, снова поглядев вниз, я увидел смутную темно-коричневую линию, пересекающую одно из полей.

– Вепри, – сказал Таллент, и я повернулся в сиденье, чтобы разглядеть их из иллюминатора. Это были знаменитые у'ивуанские боровы, и даже с такого расстояния можно было убедиться, что они чудовищно огромны. В стае их было, должно быть, около сотни, и я видел, как вокруг них распыляется грязь, эхо той воды, что разбивается об утесы острова.

– А вон Иву'иву! – прокричал мне Таллент, и я проследил взглядом, куда он указывает. Угол обзора был не идеальный – виднелся только склон черной горы, покрытой зеленью, – и я прильнул к иллюминатору, пытаюсь внимательнее разглядеть место, где проведу следующие несколько месяцев, тот запретный остров, который станет теперь нашим домом.

Но тут самолет снова развернулся и снизился, и мы оказались над У'иву.

– Это южный берег острова, – прокричал Таллент, стараясь перекрыть рев пропеллеров. – Здесь мы приземлимся.

И мы приземлились – тряхаясь и подпрыгивая на травянистых кочках, которые я потом увидел; посадочная полоса была никакой не полосой, а просто длинным участком ровной поверхности, и немногие прилетающие сюда самолеты садились именно так.

Пока мы вынимали из багажного отсека наши вещи, я заметил, что к нам движется невысокая, круглая человеческая фигура, и когда примерно в ста ярдах от нас она завопила «Пол!», я понял, что это женщина.

– Эсме! – отозвался Таллент, и я с недовольством и тревогой увидел, что он улыбается, что его лицо тотчас сделалось счастливым.

Женщина подошла ближе, и они практически бросились в объятия друг другу. За этим последовал быстрый обмен репликами на языке, которого я не понимал и который звучал как перестрелка, после чего оба рассмеялись – я впервые услышал, как Таллент смеется.

– А, простите, Нортон, – извинился Таллент (видимо, он собирался звать меня Нортон, а я его – Таллент, хотя мы ни о чем не договаривались). – Эсме Дафф, это наш врач, Нортон Перина. Нортон, это Эсме Дафф, мой научный сотрудник.

– Нортон, – сказала Эсме. – Добро пожаловать! Добро пожаловать на У’иву. Бывали уже на тихоокеанских островах?

– Нет, – сказал я.

– Ну, вас ждут неожиданности! И их будет много вообще-то, – сказала она, смеясь.

– Не сомневаюсь, – ответил я.

– Эсме – настоящий специалист по У’иву, – сказал Таллент, пока Эсме улыбалась и сияла. – Она знает местный язык гораздо лучше меня[22 - Это не соответствовало действительности. Дафф, в тот момент преподаватель отделения антропологии Стэнфордского университета (она специализировалась на деревенской жизни Микронезии), сопровождала Таллента во время двух его предыдущих поездок на остров, но среди коллег ее никогда не считали специалистом по языкам, и следующее поколение специалистов по У’иву оценивало ее знание языка в лучшем случае как базовое. Однако она, безусловно, не торопилась исправлять завышенную оценку ее языковых способностей.], нашла нам проводников и вообще все устроила. Вам без нее не обойтись.

– Не сомневаюсь, – повторил я. И в это мгновение пообещал себе две вещи: во-первых, я буду ненавидеть Эсме Дафф; во-вторых, через несколько месяцев Таллент будет считать специалистом меня, а не ее.

С моей стороны было весьма любезно отвести себе такой большой срок на вытеснение Эсме собственной полезностью и знаниями, потому что следующие несколько дней оказались безумными и беспорядочными. Для начала выяснилось, что на У’иву нет автомобилей: от поля, на которое мы приземлились (оно, сообщила мне Эсме, любезно предоставлено нам в пользование королем, который иногда охотится тут на вепрей – собирают дюжину вепрей и выпускают, а король рыскает туда-сюда верхом и швыряет копы в их щетинистые, вздыбленные спины), мы отправились в путь, погрузив свою поклажу на лошадей, тоже предоставленных королем, которые ждали нас на привязи возле пальм на окраине поля. Даже лошади, примерно на полфута ниже обычных, приземистые и широкоплечие, похожие скорее на пони, были непривычного вида.

За полчаса пути в город я узнал про все, чего на У’иву нет. Например, там не было дорог – только тропы с клочками травы и цветами, которые сминали проходящие лошади; не было также гостиницы, университета, продуктового магазина, больницы. Зато там, как ни прискорбно, были церкви, причем порядочно, с белыми деревянными шпилями – кроме этих шпилей ничто не поднималось выше пальм, чьи черные тени полосами ложились на грязь, но не защищали от солнца, красившего небо в жесткий, сверкающий белый цвет. Я спросил Таллента, которому удавалось выглядеть вполне элегантно на своей лошадке, много ли на острове миссионеров, но ответила мне Эсме. Она рассказала, что около сотни человек добралось до У’иву в начале XIX века, но большая их часть погибла в страшном цунами; оно обрушилось на северную часть острова в 1873 году. Остальные вскоре вернулись назад, и У’иву снова оказался во власти у’ивцев, как это и было на протяжении тысячелетий до появления миссионеров.

– У’ивцы не строят дома на северном берегу – считают, что это не к добру, – сказала она. – Но миссионерам нравились тамошние виды, за что они и поплатились.

Я сказал, что меня удивляет количество церквей – минут за двадцать пути я насчитал четыре штуки, – которое вроде бы подсказывало, что количество

обращенных велико. На этот раз ответил Таллент.

– Им удалось меньше, чем может показаться, – сказал он. – У’ивцам нравилась новизна церквей, и когда построили первую – Джуда, как его, Святого Иуды Фаддея, вон, прямо за той покосившейся плюмерией, – пришла куча народу, в том числе тогдашний король, дед нынешнего. Они, наверное, считали, что это забавно. Миссионеры решили, что островитяне готовы к обращению, и настроили еще церквей. Их пять штук – да, Эсме? – на этой стороне острова, и было еще три на севере, но те разрушило цунами.

– А у’ивцы помогали их строить? – спросил я.

– Нет. Миссионерам пришлось все делать самим. Король подарил им землю и древесину – если присмотреться, видно, что это все пальмовое дерево, материал сложный и непрактичный для строительства, здания получились не очень прочные, – но отказался посылать на работы своих людей. Миссионерам и так повезло.

– У’ивцев нельзя заставлять, – провозгласила Эсме, ехавшая во главе нашей колонны. – Мы это уже хорошо выучили. – Она самодовольно засмеялась.

– Короля нельзя заставлять, – уточнил Таллент. – Все блага, которые у нас тут есть – наша миссия, наши проводники, – предоставляются нам с его позволения. Он участвует во всем, что здесь происходит, и ничего нельзя сделать без его благословения.

Но в этот раз мы с королем знакомиться не станем, сказал он. Он выдает замуж дочь, и из-за хлопот у его королевского величества не будет времени на встречу с нами. Я был бы не против познакомиться с королем и увидеть его деревянный дворец, но у меня оставался как минимум один повод для радости – Эсме тоже не встречалась с королем и поэтому не могла описать всего, чего я не увижу: особняк с темными, натертыми маслом полами, толпу молчаливых жен, сидящих на циновках подобно стае гнездящихся голубок, короля с его зловещей, умудренной улыбкой.

Моя первая ночь на У’иву прошла в сухой и душной хижине, под потолком из высушенных пальмовых листьев, связанных так плотно, что, несмотря на

громкий стук дождя по неприкаянному листу алюминия снаружи (какая в нем надобность – я понятия не имел), внутри если и была какая влажность, так только от того, что я потел, причем с каждым часом душной ночи все сильнее. Я был один, я так и не понял толком (да и не хотел выяснять), в одной хижине спят Эсме и Таллент или по отдельности, и всю ночь мой мозг кипел, не давая мне покоя, и стоило закрыть глаза, как сложенный в елочку потолок пускался в плавание по векам.

На следующее утро мы дотащили свои мешки до маленького катера с дизельным мотором, неубедительно приделанным к корме. Наш капитан с кожей цвета полированного ореха (хотя ее блеск, я подозреваю, был вызван не идеальным здоровьем, а потом, слой которого покрывал все, к чему он прикасался) дождался, пока мы заберемся внутрь, а потом резко дернул шнур, заводя мотор, и направил лодку в сторону Иву'иву.

Если бы я знал, сколько времени пройдет, прежде чем я снова увижу сравнительно цивилизованную жизнь У'иву, я бы, возможно, повернулся и посмотрел на удаляющуюся землю, но в тот момент я был слишком занят вглядыванием в Иву'иву, который, как ни странно, словно бы не приближался, несмотря на стелющийся за нами водный след. День был мрачный, я помню, и море казалось плоским оловянным диском тусклого штормового цвета. Над головой небо было таким же пасмурно-серым, и брызги на вкус тоже отдавали металлом. Я уставился в море и вдруг увидел – или мне показалось – какие-то быстрые тени, мерцающие в глубине, но когда я окликнул Таллента и снова посмотрел вниз, они исчезли.

Медленно, мучительно из моря показался остров. Мы приближались к его оборотной стороне, повернутой к южной оконечности У'иву; она делала остров таким же негостеприимным в физической реальности, каким он был в моем воображении. Это был тот кусок побережья, который мы видели с воздуха во время снижения: огромная крутая стена высотой, как мне сказали, почти в шесть тысяч футов; она решительно поднималась из вод, которые скапливались у подножия в густую пивную пену. Стена была так плотно покрыта слоями зелени – деревьями, нависавшими над пластами трав и мха, змеистыми узлами суккулентов, окрашенных в неправдоподобные попугайские оттенки зеленого, какие встречаются только в джунглях, – что только когда мы приблизились, я смог разглядеть скрывающийся под ними камень, сланцево-черный в одних местах и бледно-серый, как шрифт в мокрой газете, в других; он виднелся только в редких промежутках. Глядя прямо вверх, на солнце, на фоне белого

неба можно было различить размытый, перистый горизонт деревьев на вершине острова. Когда лодка повернула и направилась на восток к солнцу, линия острова резко пошла вниз, и он стал похож на огромный кусок пирога, лежащий на боку. Но, возможно в противоположность физическим свойствам ландшафта, который выглядел все менее неприступным по мере нашего продвижения, растительность становилась все плотнее и насыщеннее, и лес наступал до самых краев почвы, так что окружающая вода покрывалась пестрой мозаичной шкурой его падалицы – цветками гибискуса, измочаленными на ветру, пожухлыми от солнца листьями манго, мелкими жесткими орехами неспелой гуавы, ошметками папоротника – так густо, что на мгновение прожорливость и страсть джунглей, их стремление поглотить любую поверхность на своем пути наводили ужас.

Через полчаса мы добрались до дальней стороны острова, где не было пляжа, но земля и вода все-таки сходились в горизонтальную линию. Наш капитан, не проронивший ни слова за весь путь, сбросил самодельный якорь, оловянное ведро с крышкой, наполненное гремющими гвоздями, примерно в двадцати футах от берега. У воды был сложный многосоставный зеленый цвет грязного турмалина, но она была так прозрачна, что я видел стайки стеклянистых рыбешек, которые сновали под лодкой и отбрасывали бледные подобия теней на песчаное дно океана. Мы не могли подобраться ближе к берегу не только потому, что берега как такового не было, но и из-за нескольких огромных валунов гладкого и бесстрастного вида, стоявших в воде. Двигаясь к острову с поклажей на спине, я прошел мимо одного из них, полного мелких карманов, в каждом из которых затаился сверкающий, щетинистый черный морской еж. Последний ярд перед сушей был испещрен многочисленными камнями, а на поверхности воды пенились пригоршни ярко-красных водорослей, как будто океан в последний раз пытался воспротивиться мощи и силе джунглей, которые уже дразнили его, спуская длинные хвосты странного толстого трехстороннего кактуса над слабыми волнами.

Кусты зашуршали – прямо как в каком-нибудь фильме про кораблекрушение, – и из глубины леса (опять-таки как в кино) вышли три человека, три у’ивца. Все они были одеты в неповторимую смесь современного и традиционного: майка с чем-то вроде саронга из трепаной коры; свободные, мешковатые штаны на мужчине, чей нос, к моему восхищению, был проколот тонкой, как травинка, костью; свободная хлопковая рубаша, под которой не было ничего, кроме занятого чехла для пениса из многочисленных мотков высушенной лианы – наряд, типичный для тех мест, где отношения с цивилизацией внове или только устанавливаются (позже я увижу такое в бразильских джунглях, потом в Папуа –

Новой Гвинее, потом в Нагаленде). После капитана катера это были второй, третий и четвертый у'ивец, которых я встретил, и после всех рассказов про их суровый нрав меня удивил их рост – самый высокий едва доходил мне до плеча – и плоские уродливые лица, с расплюснутыми носами, лоснящейся, как старое жирное пятно, кожей и резко выступающими нижними челюстями. Они не были ни толстыми, ни худыми, но их мускулистые ноги отличались огромными ляжками и указывали, что эти люди всю жизнь карабкаются вверх-вниз по крутым горным склонам[23 - Все три проводника были на У'иву охотниками на вебрей, которые в основном водятся в лесах на отрогах Та'имана; у охотников скапливается огромный опыт как в преодолении крутых подъемов, так и в передвижении по густым джунглям.].

Самый высокий из троих, тот, что в хлопковой рубашке, приблизился к Талленту, и они с силой потерлись носами друг о друга, а потом завели тихий, отрывистый разговор по-у'ивски. Остальные двое неотрывно смотрели на нас – Эсме, последней преодолевшая илистую жижу песка, стояла в нескольких футах от меня и обмахивала лицо пухлой рукой в тщетной попытке охладиться, – и хотя никакой враждебности в них заметно не было, что-то в неподвижности этого внимания не давало мне отвести глаза, и я смотрел на них, осоловевший от жары, а мелкие комары тем временем деловито облетали мою голову, как планеты.

Каждому из нас достался свой проводник: Талленту – высокий, по имени Фа'а, Эсме – тот, что в саронге, по имени Ту. Моего звали Ува, это был человек с костью в носу, и когда он подошел ко мне, чтобы закинуть мой рюкзак себе на спину, я увидел на ней что-то вроде рисунка. Мой вещмешок был тяжел, но когда я протянул руку, чтобы помочь Уве примостить его на спине – кожа у него была бугристая, как у носорога, – он сделал шаг в сторону и подвигал плечами, чтобы рюкзак разместился ровно между лопатками, а потом повернулся и последовал за остальными, которые уже исчезли за двумя большими деревьями, так густо покрытыми мхом, что увидеть кору под ним было невозможно. У самого Увы, как и у остальных носильщиков, был только небольшой сверток из мягкой ткани, размером примерно с подушку, закрепленный на груди хлипкой веревкой.

Мы двинулись. Никакой тропы не было – Фа'а, который шел первым, отводил руками побеги, ветки кустов, листья размером со сковородку, и каждый из нас вслед за ним делал так же. Меня тревожило, как быстро джунгли нас проглотили, насколько несущественно в них наше присутствие: минут через пятнадцать я обернулся посмотреть, далеко ли мы ушли, и увидел, что наш путь

уже потерялся среди бесчисленных деревьев. Над нами и вокруг нас в воздухе бурлило общение – крик, и клекот, и посвист, и щебет, – и всего через полчаса небо сделалось почти невидимым за верхушками деревьев, бесформенные голубые лоскуты с каждым шагом становились все мельче и незаметнее. Ува и остальные проводники шли босиком, подошвы у них были набухшие и поцарапанные, но у Таллента, Эсме и у меня были ботинки с тяжелыми подошвами, и с каждым шагом я слышал, как по земле под нами разбегаются в разные стороны невидимые существа. Корни деревьев сплелись в скользкую сетку, и мне приходилось сосредоточенно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть; по краям поля зрения все было окрашено насыщенным темно-зеленым, и поле это было такое узкое, что я как будто шел по сужающемуся, пушистому туннелю, который становился еще более реальным оттого, что все менее уверенный солнечный свет лишь мелкой рябью проникал сквозь густые кроны.

Наша дорога шла вверх, и вдруг подъем стал еще круче, а воздух одновременно похолодел и увлажнился – растительность была такой густой, что никакое дуновение сквозь нее не проникало, и от этого деревья и кусты казались нереальными, как декорации, хотя нас все время окружал их запах, сложный и настойчивый аромат глины, гниения, сахара, от которого у меня саднило горло, – но мы все не останавливались. Впереди меня Эсме покачнулась, Ту быстро и бережно схватил ее за руку, и хотя она, кивнув, продолжала шагать, обгоняя ее, я услышал, что она дышит жарко и громко, как лошадь после долгой скачки. Я не нес ничего, кроме маленького рюкзака, но воздух становился осязаемым, густым, как суп (думалось, как ни смешно, о чаудере с его жемчужно-пахтовым блеском, с пенкой морщинистой кожи), и когда после особенно крутого участка мы поднялись на небольшое плато и Таллент объявил, что сегодняшний переход завершен, я был готов плакать от облегчения.

Мы втроем опустились на землю, а Фа'а что-то сказал Талленту – тот выслушал его и кивнул – и вместе с двумя другими проводниками двинулся вправо от нашей тропы (я это так называл про себя, хотя никакой тропы там не было), и они исчезли в лесу. Я взял свою флягу и выпил всю воду, которая успела стать такой же горячей, как воздух вокруг, и нисколько не утолила жажду; Эсме положила голову на свой рюкзак и закрыла глаза. Джунгли вокруг издавали тихое и непрестанное гудение, как будто весь остров – это какой-то таинственный прибор, присоединенный к гигантскому, но невидимому источнику энергии.

Я, наверное, заснул. Проснувшись, я не понимал, который час – если здесь такие вещи что-нибудь значили, – хотя тьма казалась более густой, более живой и напряженной. На земле на расстоянии ярдов трех друг от друга валялись плетеные пальмовые циновки, рядом стоял наш багаж, и между двумя ковриками сидели, тихо беседуя, Эсме и Таллент.

Когда я подошел, Таллент взглянул на меня и сказал:

– Добрый вечер. Поужинайте.

В отличие от Эсме и меня, у него было два рюкзака, и из того, что побольше, он достал пакет печенья. На земле стояла банка ветчины «Спам», яркая и неуместная среди мха, с жестяной крышкой, оттянутой наподобие простыни, под которой виднелось склизкое, тошнотворное, женственно-розовое мясо.

– Я не голоден, – сказал я ему.

– Надо поесть, – ответил он. – Вы проголодались больше, чем вам кажется, а завтра еще один длинный день. И потом, надо съесть это печенье, прежде чем оно размокнет – такая влажность ничего не щадит.

– Когда я в прошлый раз уезжала с У'иву, я просто мечтала о печенье, – сказала Эсме, но из ее голоса пропало победное самодовольство. Она, видимо, еще не пришла в себя после тяжелой дороги, лицо ее было покрыто неприятными красными пятнами и из-за них выглядело щетинистым.

Так что я взял печенье, мучнистое и безвкусное, и положил на него холодное мясо. Передал пустую обертку обратно Талленту, тот стал засовывать ее во внешний карман своего рюкзака, и бодрое потрескивание пластика навело меня на мысль о дровах в огне.

– Разве в таких ситуациях не нужен полевой костер? – спросил я у них. Я даже улыбнулся Эсме, но она была увлечена нарезанием «Спама» и ничего не заметила.

Вместо ответа Таллент взял с земли ближайшую ветку и поднес ее к пламени своей зажигалки. Огонь почти сразу погас, от ветки отделился печальный

завиток едва заметного дыма.

– А, – только и сказал я. Разумеется. Древесина здесь слишком влажная.

– Не волнуйтесь, – сказал Таллент. – Когда мы поднимемся повыше, уверяет Фа’а, лес поредеет и станет гораздо суше.

Я углубился в окружавший нас лес, минуты две шел в направлении, которое указал мне Таллент, и наткнулся на мелкий ручей, серебристый, как улиточья слизь, струившийся над порогами серых валунов. Я помочился возле дерева, которое исчезало, лишенное ветвей и почти смехотворно торчащее вверх, в пологе над нашими головами, и умылся, а потом попил этой воды, прохладной и немного соленой на вкус, океанской, будто бы смешанной с пригоршнями размолотых ракушек. Когда я вернулся, Эсме спала на своей циновке, накрывшись другой циновкой; рядом аккуратно стояли ее ботинки. А Таллент так и сидел на прежнем месте, прижав колени к груди, слегка наклонившись вперед, и смотрел в сторону леса на что-то мне невидимое.

– Как оно сегодня? – спросил он, когда я присел рядом.

– Нормально, – ответил я.

– Я понимаю, – сказал он и замолчал, опустив взгляд на свои руки. – Я понимаю, что почти ничего не рассказал вам о том, чем я... чем мы здесь занимаемся. С вашей стороны очень благородно было поехать. Или очень безумно. Или отчаянно.

Я засмеялся, а он нет.

– На самом деле я ведь и сам не знаю, что мы найдем, – продолжил он. Повисла очередная длинная пауза (во время таких пауз, как я впоследствии осознал, он тщательно продумывал, что сказать, – не то чтобы боялся быть неправильно понятым, просто он никогда не открывал рта, если не был уверен в своих словах, теоретические построения его не интересовали, он говорил только то, что считал правдой). Это не значит, что он не испытывал любопытства, или был заносчив, или небрежен, или что он никогда не сомневался или не менял мнения десятки и сотни раз – вовсе нет. Но его любопытство, его воображение работало в тишине; вовлекать кого-то еще в собственную неуверенность было бы – мне

кажется, так он считал – самонадеянно и, возможно, даже невежливо.

И все-таки он не был уверен, он не знал, что мы найдем. Он был не из тех, кто действует на основании чутья и интуиции, и все же на этот раз поступил именно так – предположил, что мы могли бы найти, и пригласил меня в путь на основании этого предположения.

Меня это не обижало и не тревожило. Сама наука – это предположения: удачные предположения, интуитивные предположения, обоснованные предположения. Я работал на людей, которые во всем были уверены, и чувствовал себя беспокойно, чувствовал, что это опасно. Поэтому я был счастлив приехать сюда (ну может быть, не счастлив, но уж точно не обеспокоен; хотя Таллент не совсем ошибался – отчаяние здесь тоже поучаствовало), не зная всей картины. Наверное, это сейчас звучит глупо, нереалистично, но в молодости планирование кажется менее важным, менее ценным, чем потом, когда тебе есть что защищать – деньги, исследования, репутацию.

Так что я был готов ждать.

Прошло некоторое время, прежде чем он снова заговорил:

– О чем вы больше всего мечтаете – как врач? Вы мечтаете излечить болезни, уничтожить заразу, продлить человеческую жизнь. – Вообще-то я не интересовался ничем из перечисленного, по крайней мере не в том смысле, какой, скорее всего, имел в виду Таллент. Но не стал возражать. – А я мечтаю – это прозвучит по-детски, но мы в конечном счете здесь из-за этого, и мой интерес разделяют многие коллеги, даже если гордость не позволит им в этом признаться, – найти другое общество, других людей, не известных цивилизации и, надо добавить, не знающих про цивилизацию.

За этим последовала длинная тирада об антропологии как науке, о ее разных последователях, героях, шарлатанах и теориях, которую я по большей части пропустил мимо ушей, но все же услышал достаточно, чтобы понять, что Таллент считает себя – хотя именно так он не выразился – неким вольнодумцем, намеренным радикально преобразовать эту область знания.

Но тут он сказал нечто, заинтриговавшее меня на долгие месяцы нашего совместного пребывания на острове, нечто, на что я так до сих пор и не нашел надежных ответов.

– Я знаю, каково это – подвергаться изучению, – сказал он. – Я знаю, что значит быть низведенным до объекта, до набора поведенческих практик и верований, что значит, когда кто-то ищет экзотику и ритуальный смысл в каждом твоём повседневном движении и видит... – Тут он умолк так резко, что я понял: он только что раскрыл что-то, чего раскрывать не собирался, и, будучи человеком вовсе не беспечным, недоумевал, что заставило его так поступить, и одновременно жалел об этом.

– Что вы имеете в виду? – спросил я насколько мог мягко, чтобы не спугнуть его, чтобы он успокоился и продолжил.

Но, разумеется, это был не ребенок и не зверек, и чтобы преодолеть его безошибочный инстинкт, тихого голоса было недостаточно, тут требовался другой уровень убеждения и хитрости.

– Ничего, – ответил он и замолчал, а я одновременно осознал, как громок и полон насекомых окружающий воздух и как давно я задержал дыхание[24 - Позже Нортон предполагал, что Таллент мог ссылаться на ряд экспериментов, которые проводил в приюте Св. Иосифа около 1910 года френолог по имени Марроу Аптон, чьи идеи о размере и строении черепа были в большой моде на рубеже веков. Аптон особенно любил утверждать, что индейцы были биологически обречены уступить свои земли европейцам, и это, как он утверждал, можно доказать обследованием их черепов – по его наблюдениям, они якобы меньше и легче, чем у различных народов Европы.].

Таллент прервал молчание первым.

– Хочу рассказать вам одну историю, – сказал он и замолчал.

Потом я к этому тоже привык, привык к его манере начинать и останавливаться, к длинным речам на несколько абзацев, которые вдруг прерывались молчанием, иногда на несколько минут, изредка – на несколько часов. Но на сей раз его молчание длилось недолго, и когда он снова заговорил, голос его был ровен, и он не рассказывал, а скорее декламировал, словно я встретил в темном сосновом

средневековом лесу, а не во влажных джунглях, странствующего сказителя, и дал ему монету и краюху черного хлеба, чтобы он околдовал меня, на мгновение извлек из этого мира.

– Много лет тому назад, много-много лет, до века человеческого, жил-был великий камень, бог по имени Иву’иву, который правил огромным водным царством. Он был очень могуч, этот бог, и в его пределах встречалось все, что живет под поверхностью воды, – это было царство хвостатых, зубастых акул, и гигантских слепоглазых китов, и косяков рыбы, и полей колышущихся морских трав, которые касались его тела, словно волосы нимф.

Но Иву’иву был одинок. Повсюду вокруг себя он видел соития, видел зверей, которые соединялись и размножались и проплывали мимо него в сопровождении потомства. Даже самые одинокие, самые недружелюбные из его подданных – крабы-отшельники в витых узорчатых раковинах и ползучие, колючие морские звезды – были окружены детьми. Иву’иву был бог, и смерть его не заботила, но ему хотелось обсудить с кем-нибудь груз и тяготы своих божественных и царских дел, с кем-нибудь вместе дать начало собственному племени детей. Но для этого требовалось еще одно божественное существо, равное ему.

У Иву’иву был близкий друг, черепаха по имени Опа’иву’экэ; он был почти так же стар, как сам Иву’иву, и жить мог не только над водой, но и под водой, поэтому он бывал везде и рассказывал удивительные истории про такие места, куда Иву’иву никогда не попадал. Он потчевал своего друга рассказами про воздух и землю, где живет не меньше существ, чем под водой, только они летают, а не плавают – Иву’иву приходилось просить черепаху объяснять, что такое полет, много-много раз, прежде чем он хоть немного понял, о чем идет речь, – или ходят, или бегают, или ползают на двух, или четырех, или двенадцати ногах.

Однажды Опа’иву’экэ рассказывал Иву’иву про свои недавние путешествия, и бог не удержался от вздоха.

«О чем ты, мой друг?» – спросил Опа’иву’экэ.

«Ах, друг мой, – ответил Иву’иву, – я одинок. Повсюду я вижу счастье и близость. Я бы тоже хотел, чтобы у меня был спутник и были дети. Но для этого нужно еще одно божество, а правитель у верхнего мира может быть только один».

Опа'иву'экэ долго молчал. Потом он попрощался со своим другом и уплыл прочь.

Через некоторое время он вернулся и снова принес удивительные вести, но на этот раз даже более удивительные, чем надеялся бог. В своем путешествии по суше Опа'иву'экэ встретил еще одного друга, А'аку, бога солнца, и рассказал ему про желание Иву'иву. Оказалось, что А'ака хотел бы познакомиться с могущественным богом воды, о котором он так много слышал. И между богом воды и богом солнца зародилась любовь, а черепахе досталась роль их вестника. Он переносил замечания, похвалы, вопросы и песнопения, ввинчиваясь в холодные черные водные глубины, чтобы передать Иву'иву слова А'аки, а потом, гребя ластами по течениям, которые Иву'иву утихомирил, чтобы его другу было легче передвигаться, он поднимался на поверхность, где А'ака в середине дня делал передышку на своем пути, чтобы познакомиться с вестями из мира, который не мог посетить сам.

Прошло время, и родилось трое детей: первым был мальчик по имени Иву'иву, в честь морского бога; потом девочка по имени Ива'а'ака, Дочь Камня и Солнца; и снова мальчик, У'иву, чье имя значит просто Каменный. Половину времени все трое детей жили под водой, как Иву'иву, а половину – над ней, как А'ака. Они плескались в прохладном водяном царстве одного отца и согревались теплом другого. Любовь и привязанность родителей поддерживала их во все времена. Так что когда они тоже выросли и им стало одиноко, они обратились к А'аке, который подарил им новых детей – человечество. И пока люди были добры к своим предкам, А'ака следил за тем, чтобы злаки всегда всходили, а Иву'иву обещал, что в море всегда будет довольно рыбы и люди всегда смогут плавать по его водам, ведь люди были и его потомками тоже, которых ему следовало опекать и беречь.

А Опа'иву'экэ прожил долгую, долгую жизнь, такую долгую, что увидел, как внуки, и правнуки, и праправнуки его друзей выросли и процвели, такую долгую, что родил собственных детей, которые получили его имя – Животное с Каменной Спиной – и жили то на суше, на спине любимого черепахиного ребенка, его воспитанника Иву'иву, то в воде вокруг него. Опа'иву'экэ, конечно, не был богом, но его всегда почитали и почитают не только двое его друзей, но и все их потомки – конечно, за его привязанность и бескорыстие, но еще и за благородную работу посланника. Вот почему когда человеку посчастливится найти опа'иву'экэ, он должен совершить приношение богам и сам вкусить его плоть. Сделать так означает послать весть богам, помолиться о единственной вещи, которую А'ака – с одобрения Иву'иву – не передал своим детям:

о бессмертии. И может быть, однажды боги их услышат.

Таллент затих, и некоторое время мы сидели молча. «Я сижу на ребенке бога, – подумал я. – Двух богов». Нелепость, но все же меня невольно пробрала дрожь изнутри.

– Это самая первая история, которую рассказывают маленькому у’ивцу, – тихо произнес Таллент. – Она почти так же стара, как этот народ, – ей несколько тысяч лет, и она никогда не менялась. У них нет письменности – по крайней мере, до миссионеров не было, – но ее знают все. Вот этот символ, – он взял палочку и начертил на земле круг, а потом провел через него прямую вертикальную линию, – означает черепаху, и его можно найти на церемониальных камнях и блюдах, которым несколько столетий; эти люди приносили кого-то из детей Опа’иву’экэ в жертву Иву’иву и А’аке в надежде, что именно им достанется дар и они смогут наконец жить как боги.

Он снова помолчал.

– Но есть и другая история, совсем не такая старая, она возникла где-то в последнее столетие. На протяжении долгих лет потомки Иву’иву и А’аки вызывали у своих дедов и отцов гордость, и неудивительно – они были смелыми и находчивыми. Это были великолепные охотники и искусные рыболовы. Они защищали своих родичей от любых вторжений и уважали обоих своих прародителей. И хотя прошло много времени, никто уже и не помнил сколько, и никто не мог найти ни одного потомка Опа’иву’экэ, чтобы принести его в жертву, но ни один из богов на это не обижался, и равновесие сохранялось.

Но потом, постепенно, так постепенно, что этого годами никто не замечал, все пошло не так. Люди У’иву срубили много деревьев и не посадили новых. Они позволили людям не с этих островов – хо’оала, белым людям – жить среди них. Люди хо’оала привезли с собой огромных зверей из железа, которые перепаживали мягкую почву Ива’а’аки, и огромные сети, которыми они выбирали из океана невиданные богатства океанской еды, больше, чем можно было съесть. Они создавали мусор, горы мусора, и что-то оставалось на земле – прямо на родителях! – а остальное люди сбрасывали в море.

Глядя на это из глубины и с вышины, Иву'иву и А'ака сначала беспокоились, потом рассердились. Иву'иву послал могучие волны, чтобы вразумить своих детей, и А'ака заплакал, глядя на это, потому что Иву'иву хотел только напугать людей и внушить им почтение, но, уничтожая их, он уничтожил и часть божеских детей, и куски каждого из трех островов обвалились в море. Но даже это не изменило людские нравы. И тогда А'ака наслал палящие лучи солнца, упорные и безжалостные. В месяцы, когда он обычно уходил, оставляя небеса своей сестре, Пу'уаке, богине дождя, он остался на небесах и острыми кинжалами швырял на землю горящий свет. И теперь Иву'иву пришла пора плакать, потому что усилия А'аки выжгли урожай людей, и многие умерли, и он понимал, что его дети обожжены, опалены, осушены и мечтают о свежей воде.

Боги понимали, что не все люди забросили прежнюю жизнь, и печалились, что не могут уберечь и спасти хороших, отделив их от плохих, а праведных от непочтительных. Но люди все равно не обращали внимания на богов и на соглашение, которое боги так давно заключили с их предками. И поэтому богам пришлось и дальше насылать наказания, приливные волны, жестокие засухи. А'ака попросил свою сестру присоединиться к его усилиям, подвергнуть людей ливневым дождям, таким ужасным, что многовековые деревья вымывались из почвы и со стоном сползали в море, что водопады вырывались из своих ущелий, а ручьи превращались в ревущие, злые потоки. С каждым ударом богов их дети становились слабее, мельче, истощеннее, с каждым ударом боги испытывали все большую скорбь.

И все больший гнев. И тогда боги решили, что у них не остается выбора. Однажды, спустя много лет, человек по имени Ману'экэ – Добрый Зверь – рыбачил в холодном ручье на вершине Иву'иву и вдруг с изумлением увидел на мелководье плывущую к нему черепаху. Он поскорее схватил покрытое панцирем тело и бегом помчался в свою деревню. Там он убил черепаху и в жадной спешке, а может, и в силу дурного воспитания съел животное целиком, не принеся ничего в жертву богам, своим прародителям.

В ту ночь ему приснилось, что он обращен в бога, что ему первому дозволили жить вечно. Но ох как разозлились боги. Они видели, что сделал Ману'экэ, и понимали, что если человек не предложил им в пищу часть священного создания, как было заведено встарь, то человек этот безнадежно пал. И тогда они решили наказать Ману'экэ, даровав ему то, чего он так хотел, – вечную жизнь. Но только ужасную жизнь. Потому что когда наступил его шестидесятый год – одни говорят раньше, другие позже, – Ману'экэ стал все меньше и меньше

походить на человека. Он забыл, что такое быть мужчиной. Люди, которых он когда-то знал, превратились для него в незнакомцев. Того, что он говорил, никто не мог понять. Он забывал блюсти чистоту. Он стал существом, которое было не совсем животным и не совсем человеком. Его прогнали от людей и не разрешили больше возвращаться.

И по сей день Ману'экэ странствует по джунглям, не зверь и не человек, тень своего прошлого, пример божьего гнева и одновременно – предупреждение богов. Он напоминает нам о власти Иву'иву и А'аки, о том, что они могут давать и отбирать жизнь, о том, что они всегда смотрят на нас, готовые принять или предложить дары, столь желанные для людей.

Тут Таллент остановился, и меня вновь охватила дрожь. Ночь вокруг нас словно бы еще потемнела и стала такой темной, что я уже не мог разглядеть сидящего рядом со мной Таллента, такой темной, что его голос как будто превратился во что-то осязаемое и тканое, в занавесь из темно-сливового бархата, повисшую между нами.

А потом дрожь пришла более пугающая и холодная, потому что в это мгновение я понял: это сказание, этот миф, который Таллент заучил, услышав его бог знает от кого, который он таил, берег, нежил и ласкал, пока не смог его почти что петь, идеально соблюдая все паузы и переливы, и есть причина нашего пребывания на острове. Он собирался найти Ману'экэ; он собирался придать легенде смысл; он собирался разыскать существо, которое ползало по детским кошмарам, населяло походные байки, существовало в той же вселенной, что и камни, способные скрещиваться с планетами и порождать горы и людей. Внезапно пребывание в этом месте показалось мне сюрреалистическим, а весь наш поход – даже в слове «поход» было что-то литературное и фантастическое, как будто компания бестолковых героев ищет волшебный и наделенный невероятными свойствами предмет, – дешевым розыгрышем.

И все же – и это пугало еще сильнее – я почувствовал также, как что-то во мне освободилось. Даже сейчас, спустя столько десятилетий, я не могу объяснить этого точнее. Я вдруг обнаружил, что представляю себе длинную, толстую прочерченную мелом черту, вытянувшуюся по плоской выжженной земле. По одну сторону лежало то, что я знал, аккуратный кирпичный город безоконных построек, вещи и факты, в истинности которых я не сомневался (на ум невольно пришла моя лестница с именами тех, кто мудрее меня, и я устыдился, что попал в такое положение, что безмолвно благоговею перед антропологом). А по другую

сторону лежал мир Таллента, который я не видел, потому что он был окутан туманом, рассеивающимся и сгущающимся по непредсказуемым законам, так что время от времени мне на мгновение приоткрывалось, что за ним скрывается – и это были лишь движущиеся краски, а не настоящие образы; но там было что-то неодолимое, я знал, и страх оказаться во власти этого мира в конечном счете пугал меньше, чем невозможность узнать, что лежит за туманом, отказ изучить то, что, возможно, мне больше никогда не доведется изучать.

И поэтому я закрыл глаза; я проигнорировал свои чувства; я переступил через черту.

– Ману'экэ существует на самом деле? – спросил я и немедленно отчитал себя за этот вопрос. «Ты забываешь, кто ты такой, – прозвенел внутри меня какой-то высокий комариный писк. – Будь осторожен, ты забываешь, кто ты такой. Помни, кто ты. Ты думаешь по-другому. Вспомни, чему тебя учили».

Но я не мог. Я старался, но не мог.

Он вздохнул.

– Никто не знает, – сказал он. – У'ивцы постарше, естественно, клянутся, что да. Но никто не знает, где он жил – у'ивцы говорят, на Иву'иву, само собой, – или что с ним стало. Точнее, есть много теорий о том, что с ним стало. Он якобы нырнул в море и больше не вынырнул. Он исчез. Он стал морщинистым, волосатым, маленьким и превратился в мартышку. Он стал камнем. Единственное, что остается неизменным: он не умирает в этих рассказах, он может исчезнуть, может преобразиться, но никто не говорит, что видел его смерть.

Я немного подумал.

– А они по-прежнему приносят черепах в жертву?

– А! – Я впервые услышал в голосе Таллента одобрение. – Вот, вот отличный вопрос. Главный вопрос на самом деле. Нет. Нет, не приносят. По крайней мере, на У'иву. Опа'иву'экэ в наши дни – большая редкость. Их редко можно увидеть в воде, а тем более на суше. Есть подвид, более мелкая пресноводная черепаха, на которую они похожи, и иногда – очень редко – их можно найти на Ива'а'аке или У'иву. Но островитяне их боятся и избегают. Это важные животные, увидеть

их – добрый знак, но никто не смеет к ним прикасаться. Никто, кроме...

– Кроме иву'ивцев, – предположил я.

– Да. Так говорят.

Он снова умолк, на этот раз надолго.

– Есть история про то, – начал он, остановился и начал снова: – Говорят, что есть племя у'ивцев, которые живут глубоко в джунглях Иву'иву. Говорят, что они придерживаются старых обычаев и по-прежнему приносят жертвы богам. Говорят, – на этом месте я скорее почувствовал, чем увидел, как он поворачивает голову в мою сторону, – что они никогда не умирают.

Сам я никогда не видел этих людей, это племя. Но когда я был здесь в последний раз, три года назад, и изучал структуру семьи у у'ивцев – а она сама по себе очень интересна, – я встретил человека, рассказавшего, что он был на этом острове раньше и видел человека, который не был человеком. Выглядел как человек и двигался как человек, но размахивал руками и не мог говорить, визжал как мартышка, казался сильным и здоровым, но был лишен ума.

Впечатление само по себе гнетущее, но еще хуже, сказал он, что за этим человеком следовал другой, и еще один – целая толпа мужчин и женщин, нормальных с виду, но не способных на осмысленный разговор. Могли они только трястись, и лопотать, и смеяться в пустоту лающим смехом душевнобольных. У'ивцы ценят разговор, и остаться без него значит стать мо'о куа'ау – наверное, самый близкий перевод «без гортани», хотя куа'ау может еще означать «друзья» или «любовь». Без друзей, стало быть. Без любви.

Тот человек, охотник, покинул странных людей и поспешил домой на У'иву. Шли месяцы и годы, а он все пытался уговорить своих друзей и родственников отправиться с ним на запретный остров и найти этих людей, разобраться, нельзя ли им помочь и выяснить, кто они такие. Но у'ивцы и так сторонятся Иву'иву, ведь это любимая земля детей Опа'иву'экэ, и потому она священна, так что они отказывались сопровождать его.

Но тот человек, тот охотник, не мог забыть увиденного, хотя и объяснить, что заставляет его вернуться на запретный остров, такой пугающий, он тоже не мог.

Эти люди не отпускали его. Ни о чем другом он не мог думать.

Поэтому когда охотник узнал, что кто-то ему наконец поверил – пусть и хо'оала – и намеревается найти этих людей, он попросил взять его с собой переводчиком и проводником. Он обещал привести двух родственников, которых после долгих уговоров наконец убедил.

– Фа'а, – понял я. – Это он охотник. И сказитель.

– Да, – сказал Таллент, и я опять скорее почувствовал, чем увидел, как его лицо поворачивается ко мне в темноте. – Мы найдем этих людей. Если они существуют, мы их найдем.

– Бессмертных, – сказал я и уловил скепсис в собственном тоне.

Но если Таллент тоже его расслышал – скорее всего, расслышал, – то не подал виду.

– Бессмертных, – подтвердил он, и его голос снова звучал бесстрастно. А больше он ничего не сказал, и я почувствовал, как темнота окутывает меня теплым и тяжелым покрывалом.

После той ночи еще с неделю я пытался уследить за временем, понять, ночь сейчас или день. (Мои часы остановились на второй день – влага проникла сквозь их швы и раскрасила циферблат узорами паутины.) Но очень скоро я осознал, что это бесполезно – листва была такой плотной, что солнечный свет стал однообразным и ненадежным. Нельзя было по-настоящему сказать, что его больше нет или что солнце скрылось, потому что в джунглях прямого света не было – только тьма и отсутствие тьмы, то есть ночь и день.

Сейчас, оглядываясь назад на те первые дни, я понимаю, какие они были необычные, прежде чем я выработал иммунитет к чудесам джунглей и даже научился их презирать. Однажды – наверное, это был наш третий или четвертый день – я, как обычно, брел вверх, смотрел вокруг, прислушивался к разговору птиц, зверей и насекомых, чувствовал, как земля подо мной мягко морщится и вздымается невидимыми слоями червей и жуков, по которым передвигались мои

ноги; могло показаться, будто идешь по влажным внутренностям огромного дремлющего существа. А потом на мгновение рядом со мной появился Ува – обычно он шел далеко впереди, вместе с Фа'а и Ту, быстро выдвигаясь вперед и возвращаясь, чтобы подтвердить Талленту, что мы в безопасности, – и выставил вперед руку, призывая остановиться. Потом он быстро и грациозно метнулся к соседнему дереву, неотличимому от других, толстому, темному, лишенному веток, и быстро вскарабкался по нему, развернув ступни внутрь, чтобы обхватить ими шиповатую кору. Поднявшись футов на десять, он посмотрел на меня и снова вытянул руку, ладонью вниз: подожди. Я кивнул. Тогда он продолжил карабкаться наверх и исчез в древесных кронах.

Спускался он медленнее и что-то сжимал в руке. С высоты футов пяти он прыгнул на землю и подошел ко мне, разжимая пальцы. В его ладони пряталось что-то трепещущее, шелковистое, отливающее ярким, аппетитным бледным яблочным золотом; во мраке джунглей казалось, что оно светится. Ува ткнул пальцем в свою находку, она перевернулась, и я увидел, что это какая-то мартышка, хотя и непохожая на известных мне мартышек; она была всего на несколько дюймов крупнее, чем те мыши, которых мне когда-то было поручено убивать, и ее лицо выглядело морщинистым черным сердечком с собранными в кучку чертами, а на нем сияли большие, прозрачно-голубые, как у слепого котенка, глаза. У нее были крошечные, изящные ручки, одной из которых она схватилась за собственный хвост, обернутый вокруг туловища, густо-пушистый, с бахромой густых волос.

– Вуака, – сказал Ува, показывая на это существо.

– Вуака, – повторил я и протянул руку. Под шерстью сердце билось так быстро, что звук был похож на урчание.

– Вуака, – снова сказал Ува, затем сделал вид, что ест ее, и торжественно похлопал себя по животу.

– Нет, – в ужасе сказал я, – нет.

И он покачал головой, удивляясь моему дурному вкусу, наверное, и снова отошел к дереву, где подбросил мартышку вверх, и я увидел, как она уцепилась за кору и быстро полезла по дереву, словно пульсирующий луч солнца.

Позже от Таллента я узнал, что вуака – это примитивная мартышка, как бы протомартышка, и живут они огромными колониями на определенном дереве, тоже эндемике У’иву. У’ивцы считают их лакомством – обдирают, потом обжаривают дюжинами на длинных прутьях и едят как шашлык, – но дерево под названием канава растет только в густых лесных массивах, которых больше нет на Ива’а’аке и У’иву. В сколько-нибудь значительных количествах канава (и, следовательно, вуака) встречаются теперь только на Иву’иву, но ничто, даже страсть к свежей вуаке, не заставит у’ивцев отправиться на этот остров.

Таллент засмеялся, что происходило редко.

– Фа’а, возможно, ищет здесь пропавшее племя, – сказал он, – но остальные... думаю, их интересует только вуака.

Жарить зверьков при такой влажности конечно, не получилось бы, но Таллент сказал, что их можно освежевать и завялить с солью, которую наши проводники взяли из дома именно с этой целью.

Я понимал, что испытывать жалость к бедной хорошенькой вуаке чересчур сентиментально (и, разумеется, бессмысленно), а мне не хотелось, чтобы Таллент заметил мою слабость, поэтому я ничего не сказал. Но в ту ночь, лежа на циновке, я думал о вуаке, о ее огромных, печальных глазах, о роскошном золотом сиянии, осветившем ее прыжок в густую тьму над нами, и вдруг испытал отчаяние такой силы, что на несколько секунд утратил способность дышать.

Но вскоре даже лес, поначалу казавшийся исполненным новизны и богатства, неиспорченного совершенства и бесконечных возможностей, стал утомлять. Там, где мне раньше мерещилась тайна, теперь я видел лишь однообразие: постоянную сырость, постоянный полумрак, постоянный узор деревьев, деревьев, деревьев, непрерывной грядой уходящих в вечность. Я мечтал увидеть над собой небо, голубое, с наклепленными на него шапками облаков, или море с его беспокойной, взбаламученной мощью. Здесь мы знали, что прошел дождь, только потому, что деревья – которые одолевала такая непроходящая жажда, что я представлял их себе лесом гортаней, жадно глотавших любую каплю, – начинали потеть водой, исчезающей в шубе мха у их подножий, и потому, что земля становилась склизкой и вязкой. На берегу любое семечко из

кишечника птиц могло прорасти – я видел стволы манго и гуавы и другие деревья, которых назвать не мог, но узнавал, – а здесь, в глубине леса, растения были древние, экзотические, и я ни одного из них не знал. Это должно было вызывать восхищение, но нет: полная неузнаваемость превращает местность в нечто чуждое и неприступное, и ты перестаешь концентрировать на ней свое внимание и любопытство, чтобы не испытывать разочарования.

А еще меня начинала раздражать избыточность джунглей, как если бы слишком роскошно одетая женщина разгуливала передо мной, нацепив все свои сверкающие драгоценности. Мне казалось, что джунгли постоянно хвастаются сами перед собой собственными сокровищами – каждый камень, каждое дерево, каждая неподвижная поверхность была оснащена, украшена, осенена зеленью: трубки кустов, завернутые в извивающиеся лианы, запятнанные мхом и лишайником, деревья, окутанные гигантскими балдахинами волосистых свисающих корней какого-то другого невидимого растения, которое жило, видимо, где-то высоко над кроной. Это утомительное представление никогда не прекращалось – и ради чего? Чтобы доказать невозмутимость природы, должно быть, – ее непознаваемость, ее глубинное отсутствие интереса к человечеству. Или, по крайней мере, так казалось тогда – что это издевка. Конечно, было абсурдно просыпаться каждый день, чтобы ненавидеть джунгли и мою собственную ничтожность в них. Но я ничего не мог с этим поделать. Я начинал думать, что, наверное, не то чтобы схожу с ума, но, пожалуй, теряю хватку

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

В Пало-Альто, штат Калифорния, где я работаю по стипендии имени Джона М. Торренса в отделении иммунологии Медицинской школы Стэнфордского университета.

2

А. Нортон Перина д-ру Рональду Кубодере, 24 апреля 1998 г.

3

А. Нортон Перина д-ру Рональду Кубодере, 3 мая 1998 г.

4

Когда я упоминаю У'иву, я имею в виду страну в целом, а не конкретный остров; как вскоре станет ясно, Нортон провел большую часть времени на острове Иву'иву.

5

Оуэн, о котором говорит Нортон, – это Оуэн С. Перина, брат-близнец Нортон, один из тех немногих взрослых людей, с которыми у него на протяжении многих лет продолжались важные и осмысленные отношения. В отличие от Нортон, Оуэн всегда интересовался литературой; в наши дни он известный поэт и профессор поэзии по стипендии Филд-Пэти в Бард-колледже. Он дважды получал Национальную книжную премию США в поэтической категории: за сборник «Насекомые ноги и другие стихотворения» (1984) и «Книга под

подушкой Филипа Перины» (1995), имеет и многие другие награды. Оуэн так же славится своей неразговорчивостью, как Нортон – громкими суждениями, и однажды, на рождественских каникулах у Нортон несколько лет назад, я наблюдал крайне интересный их диалог. Нортон расхаживал по гостиной с полной горстью орехов, плевал, жевал, жестикулировал, высказывался обо всем, от умирающего искусства прищипливания коллекционных бабочек до странной привлекательности некоторого телевизионного ток-шоу, а напротив, сгорбившись его мрачным зеркальным отражением, сидел Оуэн, который время от времени что-то согласно или несогласно бормотал или хмыкал.

К сожалению, Нортон с братом сейчас непримиримо разошлись. Как станет ясно из этого повествования, их разрыв оказался внезапным и разрушительным; он стал результатом чудовищного предательства, которое Нортон никогда не сможет простить.

6

Оуэн Перина написал довольно симпатичное стихотворение о своей матери и ее смерти; оно открывает его третий сборник, «Моль и мед» (1986).

7

Можно лишь вообразить, какую жизнь могла бы прожить Сибил Мария Перина (1893–1945), родись она на пятьдесят лет позже. Великий профессор-медик и анатом Э. Исая Уиткинсон, под чьим руководством она училась в Северо-Западном университете, даже писал про нее одному из своих коллег в 1911 году:

«[Эта] ученица наделена множеством талантов, равно как элегантностью и сноровкой. Научному сообществу остается лишь пожалеть, что она не сможет заниматься медицинскими исследованиями. Я даже настоятельно советовал [ей] подумать о поездке за границу с христианскими миссионерами – этот шаг, к сожалению, предоставил бы ей большую независимость и большие возможности,

чем любой университет. Однако она отказалась – от неотступного ли желания остаться рядом с семьей (недостаток, свойственный многим студенткам) или опасаясь тяжелых трудов в неясных обстоятельствах, сказать не могу. Бесспорно, она способна заниматься любым ремеслом, хотя, скорее всего, прирожденный домашний консерватизм спутает ее тенетами какой-нибудь непритязательной провинциальной врачебной практики. Ей станет скучно; ей станет противно». («Жизнь врача. Письма Э. Исаяи Уиткинсона». Под редакцией Фрэнсиса Клэппа. Нью-Йорк, «Коламбия-Юниверсити-Пресс», 1984.)

К сожалению, Сибил не опровергла мрачные, но пророческие предсказания Уиткинсона. Ее некролог в газете «Рочестерские безделицы» оскорбительно короток и отчаянно печален: «Доктор Перина работала врачом в Рочестере на протяжении тридцати с лишним лет... Она никогда не была замужем и наследников не оставила». Тем не менее Сибил все-таки оставила великое наследие; как не раз говорил Нортон, именно она направила его к миру научных открытий и возможностей. Так что неосуществленные мечты Сибил, можно сказать, возродились в одном из самых выдающихся медицинских умов современности: он добился для нее того, что было не под силу ей самой.

8

Боюсь, что здесь я вынужден не согласиться с Нortoном. Но пусть читатель рассудит самостоятельно. Вот начало этой заметки:

Абрахам Нортон Перина. Родился в 1924 году в Линдоне, штат Индиана, США.

Где живет сейчас: Бетесда, штат Мэриленд, США.

Значимость: 7 [Примечание: по шкале от 1 до 10. Загадочным образом Галилею приписана десятка, как и Джонасу Солку. А Коперник заслужил лишь восьмерку.]

Все мы слышали, что никто не живет вечно. Но знаете ли вы, что есть люди, которым это все-таки удается? Честное слово! Доктор Перина – он живет в Мэриленде со своими многочисленными приемными детьми, их больше

пятидесяти! – обнаружил в начале 1950-х годов племя людей, которые никогда не стареют. И все потому, что они едят мясо одной редкой черепахи! В результате своих исследований доктор Перина в 1974 году получил Нобелевскую премию по медицине.

Дальше в книге приводится неточное и упрощенное описание синдрома Селены.

9

Филип Таллент Перина (прибыл в 1969 г.; ок. 1960–1975) – ранний приемный ребенок Нортон, один из его любимцев. Филип был худ, ребячлив и очень темнокож. Я не был с ним знаком, но по многочисленным фотографиям, которые хранились у Нортон, представляю себе его быстрым и подвижным; на любом снимке он как будто пытается вырваться у Нортон из рук и вообще из пределов фотографии. Несмотря на живость, Филип страдал от какой-то детской патологии мозга, и его физическое развитие тоже было затруднено, возможно, в результате голодания в младенчестве. Он был сиротой и чем-то вроде деревенского талисмана, когда Нортон привез его с У’иву в 1969 году. (До того как он оказался под опекой Нортон, его знали под именем, примерно означавшим «Эй, ты!».) В 1975 году Филип попал под колеса автомобиля, которым управлял пьяный водитель; в тот момент ему было около пятнадцати лет.

10

Хотя сделать такой вывод после бесславной смерти отца было непросто, он скопил немалое состояние. Конкретная сумма так и не была раскрыта, но биографы Нортон считают, что ее хватило на беспрепятственную покупку дома в Бетесде, воспитание и образование детей. Нортон, наряду с Оуэном, должен был также унаследовать имущество Сибил.

Я удивился, прочитав это признание. Очень удивился, по причинам, которые станут ясны читателю позже. Могу только сказать, что больше всего Нортон всегда опасался быть покинутым – он боялся, что люди, которых он любит, которым доверяет, в один прекрасный день окажутся с ним по разные стороны баррикад. (К сожалению, это опасение оказалось провидческим.) Но я уже отметил, что к его нынешнему положению привело не только предательство его детей, но и предательство Оуэна.

Интересно, что я узнал о существовании Оуэна только через четыре года после того, как познакомился с Нортоном. Когда я спросил его об этом много лет спустя, он лишь усмехнулся и заметил, что они в тот момент, должно быть, из-за чего-то поссорились. Подобные длительные периоды молчания и частые мелкие стычки были характерны для отношений Нортона с Оуэном, который, как он отмечает, был равен ему по глубине и широте знания и мнений (хотя, разумеется, не того же самого знания и иных мнений). Однако Оуэн отлично оттенял Нортона – возможно, это единственный человек, который был таким же блестящим, эксцентричным и страстным. Некогда я испытывал к нему очень теплые чувства.

Гамильтон-колледж, диплом с особым отличием, 1946; Гарвардская медицинская школа, диплом с отличием, 1950. И Нортон, и Оуэн получили армейскую отсрочку в 1944 году. Нортон – из-за плоскостопия и хронического ишиаса, а Оуэн – из-за астмы и сильнейшего астигматизма.

Известный профессор может выбрать одного или максимум двух своих самых многообещающих студентов, в том числе студентов-медиков, чтобы они работали в его лаборатории от одного до четырех семестров. Этих студентов,

как правило, выбирают на основании их учебы, оценок за контрольные работы, целеустремленности и аккуратности.

14

Трудно переоценить значение и роль Грегори Смайта в жизни научного сообщества 1940–1950-х годов. Пока его теории не вышли из моды, Смайт оставался одним из редких ученых, которые добились массового признания и известности; журнал «Тайм» 18 апреля 1949 года даже вышел с его портретом на обложке в сопровождении такого заголовка: «Грегори Смайт, Гарвардский университет: «У нашего поколения есть возможность победить рак».

15

Нортон здесь немного увлекается сарказмом. Ряд онкологических заболеваний действительно связан с вирусными инфекциями (особенно папилломавирус человека, а также гепатит В и С); он издевается над убеждением Смайта, что любой рак напрямую связан с вирусными инфекциями.

16

Когда выводы Смайта были опровергнуты, он попал в немилость, но трудно не признать, что виновником собственного унижения отчасти оказался он сам. Смайт славился высокомерием и имел множество неприятелей в академическом сообществе; когда ситуация обернулась против него, он сопротивлялся и оскорблял критикующих, вместо того чтобы просто с достоинством отступить в тень. Поскольку Смайт находился в должности пожизненного профессора, он оставался в Гарварде до самой смерти в 1979 году от рака печени (в чем была горькая ирония), хотя видно его было все меньше, и с 1968 года он был переведен, по сути дела, на постоянный испытательный срок.

Как и предполагал Нортон, у Смайта действительно была семья – жена и две дочери. Интересно, что в наши дни они, а не он, хорошо известны в контркультурных кругах как руководители небольшой, но влиятельной феминистской группы наподобие «Синоптиков», которую они основали в 1967 году. Нортон, вероятно, ужинал в доме Смайта вскоре после того, как его жена, поэтесса Элис Рив, бросила его и сбежала с детьми в Канаду со своей любовницей, профессором поэзии из колледжа Рэдклифф по имени Стелла Янович. Но это – сюжет для отдельной истории.

17

Один из выдающихся хирургов и биологов своего времени, Адольфус Густав Серени (1896–1974) был одним из самых значительных преподавателей Гарвардской медицинской школы, когда там учился Перина. У них с Периной сложились плодотворные, а после напряженные взаимоотношения, о которых в этом повествовании еще пойдет речь.

18

Контакт был на самом деле опосредованный: со Смайтом приятельствовал один из коллег Таллента в Стэнфорде, а не сам Таллент.

19

Ныне Кирибати.

20

Этот распространенный миф происходит, вероятно, от сочетания двух фактов: во-первых, все у'ивские мальчики получают копье на свое четырнадцатилетие; во-вторых, первый король этих островов, Улоло Могуущественный – который объединил многочисленные племена, разбросанные по всему архипелагу, примерно в 1645 году; его дело было завершено королем Вакой I через сто с лишним лет – якобы голыми руками убил дикого вепря, когда ему еще не исполнилось четырнадцати лет. С тех пор вепрь занимал важнейшее место в у'ивской жизни: хотя это главный спутник охотника и символ свирепости этой цивилизации по отношению к внешнему миру, убийство или приручение вепря тоже считается важным достижением, доказательством силы и храбрости воина. Фундаментально двойственная природа этого животного в у'ивском обществе – он одновременно друг и противник, – кажется, никогда не беспокоила у'ивцев.

21

Из всех персонажей, проследовавших за последние полвека по стезе антропологии, Пол Джозеф Таллент (1916-?), вероятно, остается самым удивительным и непознаваемым. Родившись, скорее всего, у матери из племени сиу, он с младенческих лет рос в сиротском приюте Святого Иосифа для мальчиков в городке Клауд-Прэри, непосредственно примыкающем к Пирру, Южная Дакота (территория города входит теперь в черту столицы штата, название он утратил). Приют Святого Иосифа был католическим детским домом с непропорционально большим количеством мальчиков-индейцев; он славился, в частности, тем, что обучал своих воспитанников различным ремеслам, в том числе сантехническим работам и плотницкому делу. Таллент привлек внимание одного из преподавателей, брата Петра (в миру его звали Майкл Таллент, и свою фамилию Таллент, несомненно, позаимствовал у него, поскольку по умолчанию всем мальчикам в приюте Св. Иосифа автоматически присваивалась фамилия Джозеф), который обучал его и обеспечил ему стипендию в школе Св. Франциска, католическом интернате в Пирре. В интернате Таллент учился превосходно и завоевал сначала стипендию Дартмурского колледжа (где получил диплом бакалавра гуманитарных наук в 1937 году), а затем Чикагского университета, где в 1941 году защитил диссертацию (как и Нортон, Таллента не взяли на военную службу, хотя на каком основании – неизвестно). Он действительно был, как отмечает Нортон, очень хорош собой, и этот факт способствовал возникновению той атмосферы героической романтики, которая позже стала его сопровождать.

Таллент слыл выдающимся молодым дарованием с первых же шагов в Чикаго, где он преподавал на протяжении трех лет после получения докторской степени, а затем и в Стэнфорде, ставшем его постоянным академическим обиталищем. В Чикаго он нашел себе наставника в лице выдающегося антрополога Лео Дюплесси, изучавшего в тот момент репродуктивные ритуалы народа хавава, небольшого племени из джунглей Папуа – Новой Гвинеи; несомненно, Дюплесси в значительной степени сформировал научные склонности и сферы интересов Таллента. Предполагается, что Дюплесси, который умер в 1943-м, помог Талленту организовать его первую поездку на У'иву в том же году, но в архиве Дюплесси такой информации нет, и судить об этом с уверенностью невозможно.

Среди многочисленных сетований биографов и ученых, которые позже занимались жизнью и деятельностью Таллента, главное место занимает отсутствие записок и каких бы то ни было личных материалов. Многие просто не могут поверить, что Таллент, так скрупулезно документировавший каждую подробность в полевых условиях, не оставил никакого дневника или по крайней мере переписки. Этот пробел, наряду с его трудами и исчезновением, которое по-прежнему остается загадкой (Нортон пишет об этом позже), разумеется, только подстегивает интерес к фигуре Таллента, так что несколько историков уже много лет пытаются составить его максимально полные жизнеописания. (Поскольку Нортон относится к числу тех людей, что работали с ним теснее многих в самый плодотворный период его исследований, к нему часто обращаются с просьбами об интервью и воспоминаниях.) Мне же кажется, что за эту задачу следует браться скорее романисту, нежели историку: к неразгаданным сторонам жизни Таллента относятся его сексуальная ориентация, его происхождение, подробности его детства, его любовная жизнь (или ее отсутствие) и, конечно, обстоятельства его смерти. Он предоставил плодотворную почву теоретикам заговора всех мастей, и в некоторых маргинальных сообществах гуманитариев даже почитается как некий мистик.

Это не соответствовало действительности. Дафф, в тот момент преподаватель отделения антропологии Стэнфордского университета (она специализировалась на деревенской жизни Микронезии), сопровождала Таллента во время двух его

предыдущих поездок на остров, но среди коллег ее никогда не считали специалистом по языкам, и следующее поколение специалистов по У'иву оценивало ее знание языка в лучшем случае как базовое. Однако она, безусловно, не торопилась исправлять завышенную оценку ее языковых способностей.

23

Все три проводника были на У'иву охотниками на вепрей, которые в основном водятся в лесах на отрогах Та'имана; у охотников скапливается огромный опыт как в преодолении крутых подъемов, так и в передвижении по густым джунглям.

24

Позже Нортон предполагал, что Таллент мог ссылаться на ряд экспериментов, которые проводил в приюте Св. Иосифа около 1910 года френолог по имени Марроу Аптон, чьи идеи о размере и строении черепа были в большой моде на рубеже веков. Аптон особенно любил утверждать, что индейцы были биологически обречены уступить свои земли европейцам, и это, как он утверждал, можно доказать обследованием их черепов – по его наблюдениям, они якобы меньше и легче, чем у различных народов Европы.

Купить: https://telnovel.com/yanagihara_han-ya/lyudi-sredi-derev-ev

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)